

# МОЯ ЛЮБОВЬ ИЗ ДОСЕКСУАЛЬНОГО ПЕРИОДА

ПОВЕСТЬ

1.

В редакциях пьют портвейн — напиток, приводящий замороченное редакционным гвалтом сознание в состояние кратковременной ясности. Ну, хоть кратковременной! Всякий раз перед сдачей номера (к утру макет в типографию) ты уж к вечеру не в состоянии принять вдумчивое решение: ставить это фото или другое, не слишком ли наездливый заголовок, кто станет возбуждаться от этой статьи и не кинут ли тебе после нее бутылку с зажигательной смесью в окошко, а то и противотанковую гранату, — все бывает на демократизированной Руси. И тут — самое время выпить стакан портвейна. И если выпить только один стакан, то звуки мира утишаются в меру и наступает благодатная ясность сознания, переводящая все гамлетовские вопросы в разряд коммунальных; решения находятся сразу, а хаос многочисленных деталей, которые нужно учесть, моментально организуется в космос. Все ясно и просто: ставь, Маруся, именно это фото, и пусть все узрят отвратительную морду нашего губернатора, а вот словосочетание «гад проклятый», а также «помесь жабы с носорогом» из заголовка нужно-таки убрать хотя бы в подзаголовок, а то ведь они могут и обидеться.

И Маруся ставит.

Счастлива та редакция, где хватает общего разума остановиться на первом стакане, хотя бы до поры, пока не закончена вся умственная работа по вычитке, сверке, придумыванию заголовков и подписей к фотографиям, но таких редакций на свете не бывает, по крайней мере, в России. Вот тут-то и потребуются железная воля редактора и его профессиональный опыт. Настоящий редактор всей силой своего таланта и творческой интуиции способен угадать с точностью до пяти минут то единственное время, когда уже нужно пить первый стакан портвейна (накануне последнего умственного аккорда) и когда после этого настает время приступить ко второму (когда все умственное уже окончено и осталась лишь более или менее автоматическая работа корректора и верстальщиков), и сколь велика эта пауза, чтобы, с одной стороны, не возникло апатии и в работе, и в питье, с другой же, чтобы уж потом, после второго, сильно мозгами не шевелить. Ведь если второй стакан запустить вслед за первым или просто слишком рано, то возникнет угроза наплевательской эйфории, очень опасной в нашем деле. Оглянуться не успеешь, как работники уж и лыка не вяжут, а конь еще не валялся, что, впрочем, часто бывает во всяком заковыристом русском деле, не только в журналистике. Признаться, нам не всегда удавалось хорошо рассчитать такт рабочего употребления портвейна.

В тот вечер «время первого стакана» настало часу в десятом, кроме того, конец верстки приходился на канун майских праздников, поэтому портвейн был закуплен в двойном количестве, а закуска в праздничном объеме. На столе в пластмассовых тарелочках были разложены всевозможные разновидности кашеобразного мяса, в России называемого почему-то «салатом». Главный из них «оливье» — помесь всего, что было в доме, с майонезом, основным соусом великой державы с тех еще времен, когда в употреблении не было кетчупов. Запах нарезаемых для него свежих огурцов в соединении с майонезом (советские огурцы чудесным образом еще пахли огурцами в отличие от нынешних, демократических огурцов) — навсегда останется запахом советского праздника в памяти поколений. Как большинство запахов детства и юности, он обладает невероятной семантической насыщенностью, и стоит его учуять в случайном месте, на случайной вечеринке, как память прикалывает к глазам картинки из прошлого: суeta женщин на кухне по нарезанию этих самых огурцов, их круто завитые бигудями волосы, короткие юбки, скроенные как чехлы для парашютов; непродыхаемый, бронетанковый советский капрон, менявший цвет ног порой до коричневого, как будто женщины оделись в костюмы аквалангистов, а еще вспомнится могучее, не знавшее никаких преград советское либидо, от которого воздух раскалялся и трещал электрическими разрядами, — несмотря на беспросветный капрон.

У нынешних праздников другие цвета и запахи.

Большая часть населения державы к этому времени была уже пьяна, а мы только начинали. Команда к питью была мной уже подана (в редакции никто без команды не пил, это положение мы даже в шутку занесли в устав), но сотрудники, сидя, по обычаю редакционных пьянок, прямо на столах между закуской, ждали меня, перекидываясь остротами. Я же делал последний просмотр выведенной с принтера уже почти готовой полосы и морщился, не в силах выбрать между тремя вариантами подписи под весьма сомнительной фотографией.

Фотография, надо сказать, была просто вульгарная: пухлый женский зад в одних трусах с раскраской в легкомысленный горошек на всю ширину фотографии сидел на стопке книг. Плоть проминалась и по краям обтекала твердые грани словарей и энциклопедий — выглядело очень эротично. Этого обтекания добивались всей молодой частью редакции, моделью же выступила одна из журналисток. Вызывающую вульгарность инсталляции, должную, по нашему замыслу, высмеять политпросветское пристрастие мэра нашего города и его официального издания к цитатам из всех возможных классиков (по слухам, дело объяснялось тем, что в пресс-службе завелся сборник афоризмов для политиков, и теперь все выступления мэра даже на темы коммунального хозяйства и канализации пересыпались цитатами из древнегреческих философов), — надо было хоть немного смягчить, нейтрализовать подписью. «Думай головой, а не цитатником», — проговаривал я про себя вариант подписи.

— Илья Викторович, мы Вас ждем, — капризно закричала молодая журналистка, чей зад я как раз разглядывал на полосе, выдумывая подпись.

— Сейчас, сейчас, Наташа, не могу оторваться от вашей фотографии. Кстати, а почему все-таки зад вы сфотографировали не мужской, а женский? Ведь думают им как бы мэр. Какая-то неувязочка смыслов — мэр думает женским задом...

— Или широкая метафора, — включился еще один молодой сотрудник.

— Просто из мужчин никто не согласился выставить свой зад на обозрение, — сказала Наташа.

«Эх, черт — действительно, пора принять, может быть, после стакана портвейна все само разрешится», — подумал я.

Зубоскальство стало уже непродуктивным. Я подошел к столу, все радостно заторопились, наливая, — чокнулись и выпили. Выпил и я, а закусывая, хрустнул яблоком, откусив от него чуть не половину, — очень хотелось и пить и есть. И вот когда этот замечательный первый портвейновый кайф уже снял мутную пленку с действительности и сделал все предметы мира блестящими и немного скользкими, — тут-то мне и подали трубку:

— Привет, Илья, — сказал мне в трубку пьяный женский голос.

— Пливет, — сказал я, давясь непрожеванным яблоком. — Это кто?

— Что не узнаешь? — удивился женский голос.

— Не узнаю, — сказал я честно и уж начинал думать, чей бы это женский голос мог мне звонить в редакцию и называть на ты без отчества.

Обычно секретарша отсекала случайные голоса, но сейчас ее уже не было. Кроме того, вопрос такого рода — «не узнал?» — универсальный способ повергнуть в трепет любого мужчину с жизненным опытом, — мало ли обиженных женщин осталось позади. Вздрыгнул и я — от моментальных догадок...

— Ну, что же ты? Зазнался, стал известным и не узнаешь старых знакомых, — сказала она нараспев с наигранным кокетством.

— Не узнаю, — вздохнул я. И — подумал, что если она продолжит кривляться, то сейчас просто пошлю ее подальше, пусть обижается. И пусть даже это будет плохой пример для сотрудников, им-то это делать настрого запрещено, уже были разбирательства по этому поводу, — все равно продолжать эти бессмысленные догадки было ни к чему.

И тут она назвалась...

## 2.

Есть особый кайф издавать газету в городе, где родился. Еще лучше, если он небольшой — сто тысяч плюс прилегающие окрестности. Это значит, что можно, и даже очень легко, написать в газете вот про эту симпатичную продавщицу с сумбурной прической (как будто она забыла причесаться поутру) на излишне выбеленных при покраске волосах, как это любят делать русские продавщицы — возможно, оттого, что просто не достать хорошей краски, но вполне может оказаться, что им даже нравится эта трупная желтизна на голове. И от волос ее пахнет губной помадой, дешевыми духами, сливочным маслом и колбасой из отдела, где она работает. И пусть про нее совершенно нечего писать и в голове у нее одна полная пустота, которая, отражаясь в глазах, становится не просто пустотой, а бери выше — бесконечностью, поскольку пустота — это лишь псевдоним бесконечности, а другие ее имена — смерть и, кажется, иногда любовь, а прочих называть не будем, ибо мы вообще-то не про то...

Ну, тогда можно просто сфотографировать ее глаза и поместить их крупным планом, потому что они действительно красивые и большие даже без краски, а с краской и вовсе непомерные, такие, что кроме них на лице едва помещается немаленький русский нос, и даже губы, нарисованные тремя сортами помады в семь слоев, кажутся ниточками в сравнении с этими глазами. И пусть в них зияет и свистит эта самая пустота-бесконечность, что, в сущности, прекрасно — не всем же ходить с полнотой! — мы все равно их напечатаем. Зачем? А ни за чем, потому что хочется. Затем, что глаза красивые, продавщица молодая, день прекрасный, и я здесь родился. Да и газета моя, что хочу, то и делаю. Купи себе

газету и тоже печатай что хочешь, а мне здесь не указывай, у нас, между прочим, свобода печати и даже слова. И вообще — все учат писать, я ж тебя не учу кирпичи класть или водкой торговать, вот и ты не учи. По морде? Ну, по морде я и сам могу. В этом факультативном мужском занятии еще неизвестно, кто окажется круче. Вполне возможно, что и я. От интеллигента слышу! Черт, вот и поговори тут с вами об искусстве...

Издавать газету в собственном городе — это значит, что однажды к тебе подойдет твоя тихая мать и, пристально посмотрев прямо в твои глаза, скажет: «Сынок, ты вот написал там в своей газете плохо про Егор Михалыча, а ведь он твоего отца однажды от несчастья уберег». А потом расскажет тебе угрюмую и почти фантастическую историю сорокалетней давности, которая будет содержать слова «завком», «партком» и «четыреугольник» вовсе не в геометрическом смысле (кто это теперь помнит!?), после чего ты никогда больше не напишешь худого слова про этого Егор Михалыча, а напишешь одни хорошие, не обращая совершенно никакого внимания на то, что Егор Михалыч, по сути, отъявленная скотина, и это не требует никаких доказательств, как вчерашняя погода. А если по твоему недогляду у тебя в газете и проскользнет что-то против Егор Михалыча, то это, кроме прочего, будет означать, что твой старый отец прожил жизнь немного зря, а уж такой разворот темы про Егор Михалыча тебя никак не устраивает. И это будет слишком очевидно для тебя и твоего отца, но не для всех остальных. И ты обольешься семью потами и семь морозов по коже превратят их в лед, пока ты объяснишь своим коллегам, которых ты постоянно призываешь к профессиональной последовательности, почему мы можем написать про мэра, что он свинская собака, а про какого-то там Егора Михалыча, что он скотина, тем более, что это всем очевидно, — не можем.

И вообще — хоть на краткий миг почувствовать себя значительным, прихлебнуть это вино (или пусть всего лишь бормотуху!) публичности и нужности людям. А в родном городе это и проще, и трудней: промаха не простят, а успехом будут гордиться даже алкоголики, с кем хоть однажды удалось преломить полтора соленых огурца по случаю запоя от неразделенной любви.

Нет-нет, ты ведь не такой, чтобы зазнаться и отвернуться от несчастий и страданий человеческих, это другие, бывает, срываются и отворачиваются от страданий человеческих, а сам-то ты не такой, ты никогда не отвернешься от несчастий человеческих и страданий, ты только и делаешь, что печешься об этих несчастях человеческих и об их же страданиях, скорее всего, их становится гораздо меньше от твоей благородной деятельности — страданий человеческих, а также их несчастий. И пусть к тебе придут какие-нибудь глупые бабки и скажут, что однажды они вместе с троюродным братом твоего дедушки копали большую яму, переходящую в котлован, по разнарядке облісполкома ровно пятьдесят лет назад и выкопали-таки ее окончательно. И на этом основании ты им должен обязательно помочь. И ты им обязательно сможешь, потому что дело-то как никогда ясное, поскольку жалуются они сразу на всех и вся, а — чего уж проще-то! — это как раз и есть абсолютное космическое зло. И здесь уж дело принципа: или ты с добром, или ты со злом, причем навсегда. И ты выберешь, конечно, добро. Ну не зло же!

И пусть тебя о чем-нибудь попросят и друзья, и враги. И ты сделаешь что-нибудь благородное для врагов и откажешь друзьям, потому что они, друзья, таковыми и пребудут: «Да не могу я этого сделать, пойми, ты, братан, не могу!» И они обязательно поймут. И враги тоже все поймут и не перестанут быть врагами.

И — это очень странное чувство, когда тебя знает здесь каждая, в сущности, собака.

А вечерами тебе будут звонить друзья детства, приятели молодости и свидетельствовать почтение, которое, ты знаешь, они никогда бы не засвидетельствовали, если бы не эта газета. И радостными голосами будут спрашивать тебя «как дела?», говорить о футболе, говорить, что кто-то уже даже и помер от водки или мороза, говорить, что читают и очень рады, и надо бы как-нибудь выпить-встретиться, да так и не встретитесь никогда. А однажды вечером тебе позвонит твоя вдребезги пьяная первая любовь и спросит: «Узнаёшь?» И ты ее, конечно, ни за что не узнаешь, — и потому что пьяная, и потому что первая, и столько лет прошло... и лучше бы не звонила! Эх, наливай...

— Так кто звонил-то, Илья Викторович, признавайтесь — новые претендентки на звание городских красавиц? Черненькая с крупным бедром или беленькая с пышной грудью?

— Первая, Наташа, любовь, а в этом случае цвет волос и величина бедра не имеет никакого значения.

### 3.

Это была девушка с очень неромантической мечтой — поступить в торговый техникум. Учитывая ее возраст и время, когда протекал сам процесс мечтания, можно сказать, что мечта ее была просто фантастической по своей приземленности и расчетливости — не сразу в институт, а сначала в техникум, поскольку в институт был большой конкурс, а связей у ее семьи не было. Зачем уповать на нереальное? А так — она получит сначала профильное среднее образование, поработает — кем там? — младшим товароведом, а потом уже ей будет существенно проще поступить в институт вне конкурса, хотя бы на вечерний факультет. Девушке было 14, а на дворе стояла густопсовая Советская власть — конец 70-х. Власть стояла на этом дворе уже лет 50 и за это время сильно надула в уши населению «пролетарские» романтические стереотипы — своего рода пособия для мечтания, которые к тому времени у советских людей передавались уже по линии ДНК. В Советской России уместней было бы мечтать сделаться знатным углекопом, сталеваром, машинистом паровоза, водителем грузовика и даже рабочим у станка на большом производстве, но смешно мечтать поступить в торговый техникум. Нет, были, конечно, и трезвые люди (всякий раз приходится удивляться, встречаясь с этой прагматической ясностью сознания и даром мелкобуржуазного прозрения, неистребимым даже после чуть не века социализма), и очень многие, вероятно, хотели поступить и в торговый техникум, и в училище сельхозкооперации, и на бухгалтерские курсы, но это не увязывалось со словом «мечта» и с юностью в целом. Всегда ведь остаются и более или менее универсальные объекты для мечтания, так сказать — классические образцы, годные и капитализму, и социализму: летчики, космонавты, полярники, исследователи, путешественники, актеры, кинозвезды наконец, всевозможные певцы или танцоры и тому подобный опиумный дым, из которого в юности состоит и реальность, и твердь.

Один из ее тогдашних ухажеров стал впоследствии часовщиком, но мечтал стать путешественником, причем куда-то очень далеко — чуть не на Южный полюс, другой сгинул в тюрьме, а перед этим тяжело работал на заводе, сильно пил и, наконец, кого-то зарезал, но тогда мечтал стать не меньше, чем капитаном дальнего плавания. Я тогда, кажется, мечтал стать летчиком или чем-то в этом

роде — «почти космонавтом», но не стал. Она же просто хотела поступить в торговый техникум. И поступила.

В ее мечтах не было высокого градуса несбыточности, — сказал мне спустя много лет человек из нашей юношеской компании, — что в юности часто заменяет даже кайф от наркотиков. Суди сам, вот сейчас такая мечта уже не в диковину, ну, точнее не мечта, а обычное желание, для мечтаний у русских уже нет времени — все просто хотят стать менеджерами, банкирами, разными торгашами и вообще — деловарами с деньгами. Ну, вроде меня... — он широко улыбнулся. — Ненормальные хотят стать инженерами, врачами или военными, или даже летчиками, но — если таковые вообще находятся, — то это уж можно даже назвать мечтой, поскольку это явно нетрезвый взгляд на вещи. А вот интересно, сейчас кто-то из пацанов еще мечтает стать космонавтом? А у меня чуть не весь класс хотел стать космонавтами, даже некоторые девицы.

— Время сейчас другое, — продолжил, он помолчал. — Может, поэтому подростки переключились на наркотики, это просто замена мечте. Мне вот все время кажется, что колются в основном люди без фантазии.

— А пьют? — спросил я его.

Но он, скорей всего, относился к тем людям, которые не замечают вопросов, если не хотят на них отвечать.

Мы сидели с ним за пивом в открытом летнем кафе напротив редакции, по странному совпадению — всего за несколько дней до ее неожиданного звонка и говорили о ней. Был конец русского апреля, ветер еще дул довольно свирепый, солнце проглядывало не часто. Проглянувши перед тем на два полных дня, оно спровоцировало раннее набухание почек и открытие этого кафе, хозяин которого, всю зиму ждавший возможности заработать, явно поспешил: солнце обмануло, и на все следующие дни установилась порывистая ветреная погода. Сидеть в такую погоду в кафе, да еще и пить холодное пиво было похоже, скорее, на процесс целенаправленного закаливания, но организм, соскучившийся за зиму по теплу, и легкое повышение температуры воспринимал как дар Божий — почти не мерз. Весной вообще мерзнешь меньше, чем осенью, особенно если наградой за неуместно холодное пиво тебе будет одно из самых приятных развлечений этого кафе — возможность ленивого разглядывания проходящих мимо, обнажающихся навстречу весне девушек. Пусть даже стоимость просмотра включена в стоимость пива.

Я вышел из редакции с молодым коллегой выпить пива на ветру и поучаствовать в долгожданном просмотре женских тел, здесь-то к нам и подошел плотный мужчина моих лет, приподнял темные очки и тоже спросил: «Не узнаешь?»

И я его сразу узнал: в те времена, когда мы оба за нею ухаживали, он мечтал стать шпионом (впрочем, шпионами назывались враги, а наши назывались разведчиками, он мечтал стать разведчиком от КГБ), видимо, насмотревшись сериала про Штирлица, но, кажется, не стал. Я слышал, что он стал заметным богачем, в подтверждение чего возле пивной стоял его сверкающий мерс. Действительно — какое русское богатинство без «мерседеса»! Иначе бы никто и не поверил. Он похвалил газету и сказал, что с удовольствием ее читает, попросил разрешения присесть, заказал пиво. Мы быстро перешли в разговор к ней, поскольку нас связывало только это, и мой молодой сотрудник деликатно удалился назад в редакцию.

— Ну да, она поступила и в техникум, и в институт, все как было запланировано, — сказал он. — И стала сначала младшим товароведом, потом старшим, а потом директором торгова и сейчас тоже занимается торговлей.

— Вы встречаетесь?

— Нет.

— А откуда ты все это знаешь?

— Ну-у, знаю... — протянул он, а я почувствовал, что наступил на неудобное.

— Так ты ее с тех пор и не видел, как мы расстались?

До той поры рассеянно смотревший в направлении своего “мерседеса”, он поднял на меня серьезный взгляд.

— Мы встречались с ней, когда *вы* расстались, — сделал он ударение на слове «вы», — когда она училась в своем техникуме и некоторое время после того, как она поступила в институт. Потом она вышла замуж...

Тут он потянулся за сигаретами и, сделав неловкий жест, опрокинул кружку с остатками пива. А если через двадцать лет при воспоминании о любви ваша рука дрожит и попадает вместо пачки сигарет в кружку пива, несмотря на то, что видом вы, как борец-тяжеловес, то это ясное указание на то, что любовь была настоящей. Женщины уже может и в живых не оказаться, а руки и губы все дрожат о ней.

Пока ему несли новую кружку, он боролся с сигаретой — не мог найти конца, с которого прикурить. Черт возьми, вполне возможно, что он даже ревновал ее ко мне — сейчас, спустя жизнь.

— И что же муж? — спросил я после паузы и, наверное, совершенно не уместно и не логично.

Муж у нее был самый реалистический, делал карьеру, обеспечил ей благосостояние. А ты что — хотел, чтобы был, типа, поэт, да? — ухмыльнулся он как будто в мой адрес, впрочем, не очень язвительно. — Вообще — пустые ожидания, как говорят гадалки, были ей совершенно незнакомы, ты же знаешь. Лишь идиоты тешат себя мыслями о несбыточном: вот, мол, свалится куча денег, придут, заметят, оценят, пригласят, возьмут замуж... Это, по существу, естественным образом женская точка зрения на мир, но иной раз она свойственна и мужчинам. В ней всегда содержится этот дурман неизвестности, незаконченности текущего события, вероятности чего-то большего, загадочного, того, что ты действительно заслуживаешь. И это парализует волю, делает из человека вялого придурка, но в то же время делает жизнь слаще или, по крайней мере, выносимее. Вот, еще немного, и... вывернет из-за того угла Царевна Несмеяна, рассмеется и с ходу даст. И именно тебе. Просто потому, что ты единственный, кто ей нужен...

Он воодушевился и, кажется, уже справился с волнением:

— Это тот кайф пустых надежд на невероятное, без которых иной раз просто не выжить, человек так устроен. Ими и тешишь себя, пока уж не выпадут все волосы вместе с зубами.

Он помедлил:

— Правда, она была устроена не так. Тоже — талант своего рода.

— У тебя какое образование, философское, что ли? — спросил я, пораженный разработанностью вопроса, чего уж никак не ожидаешь от человека, вылезшего из “мерседеса” посреди занюханного русского городка. А в его разоблачении меч-

тательности мне послышалось раздражение — то ли на всех «пустых ожидателей» вообще, то ли на себя самого, потерявшего из-за мечтательности слишком много времени, то ли на подругу нашей юности, не ценившую этого качества в человечестве, — окончательно мне не было ясно.

— Образование? Никакого, — сказал он спокойно, без стеснительных оговорок за свою необразованность — «оставалось, мол, только диплом получить, да либо мать умерла, либо жена родила», но также и без чапаевского плебейского гонора — «мы университетов не кончали». — Это тебе нужно образование, а мне не надо.

Я всегда поражался — как это в России можно быть умным, да еще и с деньгами? Мне всегда казалось это противоречием в основании. Я подозреваю, что между мечтой о шпионстве и приобретением состояния он все же успел где-то поучиться.

#### 4.

Зато внешность у нее была совершенно романтическая. Высокий рост, длинные каштановые волосы ниже плеч с челкой, которую в России среди гуманитарно озабоченных людей принято называть «ахматовской» (мы же, рожденные в рабочем предместье, разбирались тогда в этом слабо, так что определения изначально ретроспективные), полные губы, которые в прочитанных позже зарубежных романах принято называть чувственными, и длинные стройные ноги, которым нынче, когда они стали товаром, присвоена торговая марка «растущие от ушей». Ноги, правда, были немного простовато вырезаны, без особенного изящества, которое обычно появляется уже у взрослых женщин, а у нее они еще не избавились от подростковой угловатости, если не сказать — аляповатости, но — в четырнадцать-то лет это обычное дело! Все подростковые ноги напоминают изделия советской (или теперь — китайской) фабрики пластмассовых игрушек, где швы от склеивания двух частей куклы слишком заметны и глазом, и на ощупь, — непонятно, что в них находил Набоков и другие певцы и практиканты педофилии? К сожалению, я так и не увидел, сделались ли они, в конце концов, изящными, — мы расстались в самом начале этого процесса. Однако в то время их длина и стройность казались мне достоинством абсолютно универсальным, не требующим никакого усовершенствования и дополнения, тем более, что это всегда подчеркивалось неизменной короткой юбкой. Эротизм деталей был тогда неведом ни мне в восприятии, ни ей в подчеркивании их одеждой — для такой утонченности мы оба были слишком юны. Ведь юность — это время почти что асексуального эротизма больших оголенных пространств и романтической нечеткости изображения, размывающей детали. Чуть позже, в период физического расцвета и телесного избытка, приходит высоковольтный половой инстинкт, заставляющий с членом наперевес бросаться на любую самку, и в это время тоже не до подробностей, они просвистывают мимо, размазываясь как близкие деревья при езде на скоростном поезде. А чувство детали — эта родина поэтов и художников — приходит зачастую вместе с импотенцией — еще позже.

Словом, это был типичный образец юной женской особи в первом полудетском расцвете, сводившей с ума всех, кто задерживал на ней взгляд — и юношей, и взрослых. И самым сногшибательным элементом ее облика были огромные, карие, чуть не вполлица глаза, которые и запустили в мои жилы ток, едва я впервые пересверкнулся с ними взглядом, и я уже не смог оторваться от этого романтического генератора почти два года. Кто-то, возможно, «заряжался» от других



частей ее тела, которые тоже были хороши, но я от глаз, по крайней мере, первое время, когда они были мне доступны для разглядывания. В ее глазах были еще две изуверские детали, которые в соединении давали просто термоядерный эффект: у них было наивное, немного недоумевающее выражение и длинные ресницы, которыми она время от времени не без кокетства взмахивала, то есть взмахивала специально-отработанно, немного театрально, а не инстинктивно: взгляд, пауза, хлоп-хлоп — несколько мужских трупов на линии взгляда.

В тогдашних любовных стихах не слишком литературного юноши я сравнивал ее глаза... с чем там? Ну, с чем надо — с бездонными озерами, с бескрайним небом, со светом двух маяков или одного, но очень яркого, — уж точно не помню. Помню, что было еще сравнение с факелом Прометея, а также с горящим сердцем Данко, то есть содержались запоминающиеся образы из успешно усвоенной текущей школьной программы по сразу двум дисциплинам — древней истории и отечественной литературе.

Сейчас бы мне ее облик не показался столь уж романтическим, но в ту эпоху это был самый распространенный романтический образец, содержащий наиболее основательные визуальные штампы полового романтизма второй половины двадцатого века, некий его архетип, невозможный никогда раньше и, по сути своей, асексуальный: женский силуэт, лишенный выпуклостей и округлостей, словно выпотрошенный или высушенный, подставляющий мужским ожиданиям вместо женщины — девочку-подростка, навязывающий им сексуальные чувства и переживания на грани педофилии или гомосексуальности (наверное, это тоже какая-то «тонкость», но весьма искаженная, если судить с позиции так называемой «унылой нормы»). Говорят, что в создании и пропаганде этого образа большое влияние имели знаменитые кутюрье-гомосексуалисты, которые во всех движущихся объектах склонны видеть мальчиков-подростков, и эта «мальчуковость» была спроецирована на женщин. Причем этот архетип стал интерконтинентальным, перескочил границы политических формаций и поразил сексуальное воображение полиурезованного мира вне зависимости от принадлежности к тому или иному полюсу. На западе это произошло после смерти грудастой Монро и намеренно или бессознательно вылепилось в куклу Барби. У нас же этот переход произошел, возможно, не столь резко, без этого американского всесветного свиста и рекламы, но образ тоже стал множиться и стал универсальным: вспомним мультяшный персонаж 70-х — плоскую девицу из мультфильма «Бременские музыканты», на память также приходят образы поистине всенародного подсознания — рисунки из девичьих и дембельских альбомов, а также однообразные иллюстрации в журнале «Юность» той поры: стремительность, худоба, подвижность, летящий облик, палкообразность, отсутствие выраженных изгибов — чем не аллегория романтики!

Но то, что это была любовь, я знаю точно. Обычное мужское рассредоточенное блуждание в поисках самки, когда из непереносимого разнообразия вариантов не можешь наверняка предпочесть ни один (у одной — грудь, у другой — глаза, у третьей — губы и ноги или ум и зад), здесь моментально улетучилось. Все стало просто и ясно: она — моя. Это была упорная, сверхсильная, в том смысле, что я не мог с ней совладать собственными силами, сверхразумная (собственным разумом), и даже сверхсексуальная (поскольку даже помыслить себе секс с этим воздушным созданием было все равно, что использовать икону в качестве порнографической открытки) тяга к одному объекту. Такое бывает всего пару раз в жизни даже у заядлых женолюбков. И уже других женщин для тебя не существует, ты просто их не замечаешь. А если дело происходит в юности, да еще это оказы-

вається першої любов'ю, то для тебе не існує не тільки інших дівчат, но і взагалі нічого іншого в світі. Миттєво відлітають в ніщо товариші, школа, батьки, книжки, в яких не написано «про це», відлітає їда і сон. І ця монотонна однозвучна тяга переслідує тебе день і ніч, закладаючи вуха і застилая мутною пеленою очей, вона піднімає тебе з койки задолго до будильника, до того часу, коли ще можна щось розумно нав'язати батькам, і гонить бегом через весь місто в російській зимній утренній темі і холоді — на іншу його кінець, щоб подивитися, як вона виходить з свого ободраного під'їзду в школу. І потім піти за нею, проводити її до дверей школи, йти в тридцять метрів ззаду, і замерзнути, чекаючи, і опоздати в свою школу, оскільки потрібно повертатися через весь місто назад. І робити це кожен день, поки батьки вже почнуть підозрювати тебе в чомусь непотребному, тільки не змінити батьківщини, к щастю, в наркодилерстві тоді ще нікого не підозрювали, але щоденні вставання в полшестого менше, ніж на змену батьківщини, не тягнули. Що я вважав тоді батькам? Пригадати мудрено: що я дежурний в школі, що ми зустрічаємося з друзями, щоб позаниматися спортом, і це могло звучати правдоподібно хоча б на деякий час, оскільки спортом я дійсно займався, що було майже необхідністю для хлопчика з передмістя і батьками, в принципі, одобрялось. Потім відкрилось, що це не так, батьки влаштували розшуки, а я чому-то боявся або, точніше, соромився признатися в тому, чим займався на самому справі, вважав щось інше. Чого вже соромного — бігав за дівчаткою? Тепер признаюсь...

І вона виходила в нагороду мені майже кожен день в звичайний час. Я завжди точно знав про це за хвилину до її виходу по посилюючому м'якоті світла і тіней в її коридорі, який я бачив через вікно першого поверху, потім хлопала двері квартири, потім скрипела і хлопала двері під'їзду, всі ці звуки незмінно супроводжувалися переходом серця в режим кулеметної стрільби і приливом вогню во всі органи, — ось і вона. Я миттєво согрівся в миг її появи в дверях, навіть якщо приходилось простояти достаточний час, прячась за киоском Союзпечати або за деревами в її дворі, оскільки приходив завжди загодя, боячись опоздати до її виходу, бо бувало, що вона виходила трохи раніше, і тоді я бігав по дорозі до її школи, чекаючи нагнати, а не нагнавши, в розбитому стані плелся назад в свою школу. І весь день був псу під хвіст.

На більшій частині двері всі ж скрипели і хлопали вчасно, і вона виходила зі своїми розпущеними по плечам волосами і чудовою осанкою швидше балерини, ніж учениці торговельно-технікуму, а я пристраивався за нею в тридцять метрів і умер би в ту ж секунду, як тільки вона обернулася, хоча вона, швидше всього, просто дуже здивувалася або навіть обрадувалася — бо ми вже були знайомі. І так — п'ятсот приблизно метрів волнуючого, майже щоденного переслідування, — поки за нею не захоплювалася важка двері школи. А мимо нас скрипели сагами, випарюючи через носоглотку, темні силуети сучасників, поспішаючи на свою унылу соціалістичну роботу.

Врешті, капіталістична робота не менше уныла...

## 5.

Туристичної суті поїздки, де ми познайомилися, мені не вдалося зловити ні тоді, ні, тим більше, зараз, з роками, коли осыпалися могутні приоткрыть цю тайну мелочи. Тепер ця затія мені здається ще парадоксальніше: чому з одного невеликого містечка в Підмосков'ї, утыканного заводами, потрібно було

ехать в другой точно такой же, только в Карелии, и упорно посещать там с экскурсиями какие-то бесконечные деревообрабатывающие производства, слушать лекции о том, как делается бумага, мебель и шкатулки из карельской березы, — все это я объяснить не берусь. Возможно, это показывает, до какой степени советский воздух был пронизан сакральными смыслами, в отличие от нынешнего буржуазного и прагматического, основанного на здравом. Этот последний в выборе каникулярного отдыха для подростков исходил бы из идеи отдыха с попутным увеличением каких-нибудь культурных знаний при помощи посещения музеев, исторических мест или отдыха на природе для подкрепления здоровья. Плюс к этому при выборе играла бы роль стоимость отдыха и его доступность кошельку родителей. Таинственные же мотивации советского времени могли включать в себя идеи «профорientации» или революционно-патриотического воспитания или чего-то еще более возвышенного, и вполне могло оказаться, что в этом деревообделывательном городе могла погибнуть какая-нибудь комсомолка или целый партизанский отряд, на что обязательно нужно было посмотреть. Но я этого точно не помню. В том ли городе под стеклами витрин краеведческого музея удалось увидеть пробитую пулей буденновку, очень красивый маузер, обгорелые письма, разбитый бинокль и потертую планшетку главного командира, а также заднее колесо от тачанки — или это собирательный образ краеведческого музея советских времен? Впрочем, говорят, что в Америке краеведческие музеи похожи на наши и там тоже можно увидеть разорванное седло генерала Кастора и шпоры времен тамошней гражданской войны. Маузеров тогда еще, кажется, не было, а то ведь — что за музей без настоящего маузера?! Мало кто не остановится, чтобы посмотреть на изящную тяжесть, чужую даже сквозь стекло, и элегантный, как нынче сказали бы, дизайн.

В той, прожитой нами социалистической жизни был один поистине мистический элемент, определявший ее суть, — это было действие, обозначаемое глаголом «давать». Все сущее — «давалось», но непонятно, кто был «даватель» и от чего зависело «даваемое», поскольку оно явно не зависело от желания принимающего или, по крайней мере, зависело не напрямую. Можно было довольно легко определить лишь низшую инстанцию распределителя, от которой далеко не все зависело: яблоня давала плоды, профком давал путевки, завком — квартиры, роддом — жизнь, суд — срок, женщины — заветное («честная давалка»), но все они были лишь исполнителями высочайшей воли Главного Давателя, который и решал основной вопрос эпохи: «давать или не давать» в глобальном, так сказать, смысле, в онтологическом. Но ни имя, ни образ его были неизвестны. Может быть, это было некое Оно, тап или Ничто, которое «ничтожит», этот вопрос хорошо бы оставить для определения профессиональным философам.

«Даваемое» при Советах почти не обсуждалось — хорошо, что «дали» или хорошо что «еще дают», — «могли бы и не дать». Так, верно, произошло и с путевкой, — она «далась» посредством профкома моим родителям на время школьных каникул. Обсуждать было бессмысленно. В Париж не давали, в Рим не давали, не давали и в Крым, давали — в Кондопогу. Выбора у родителей не было, у меня тем более, ничто от воли человека не зависело. Название города — насилие над вокализмом русского языка, запомнилось лишь через неделю переспрашиваний. Зато на всю жизнь. Район назывался Кондопожский, жители — то ли кондопожане, то ли кондопожцы, уточнять теперь не хочется. Сейчас же я склонен разрешать вопрос этой поездки в провиденциальном смысле: дали именно туда, куда надо, — чтобы там познакомиться с нею, год простоять перед ее окнами и через двадцать с лишним лет встретиться с нею снова и написать этот текст. В этом случае следствие становится причиной, как это обычно бывает, когда дело лежит в руце Провидения, пусть даже коммунистического.

## 6.

Мы разговаривали с ней в этой поездке едва пару раз, но память не оставила никакой зацепки для реконструкции сказанного. Умела ли она вообще разговаривать? Обворожительно улыбаться умела, еще и сейчас в памяти всплывает ее смех, ее улыбка. Голоса и выражения речи почти не помню. Лучше всего вспоминается, как просыпалась эта тяга к ней, как я почти не мог находиться наедине с собой, с другими, вообще — находиться вне ее присутствия или хотя бы вне состояния поиска ее. Вечерами я слонялся по коридорам даже не слишком облезлой, по советскому обыкновению, гостиницы в надежде, что она выберется из своего номера, где жила с еще двумя девицами, в холл смотреть телевизор. Если она выходила, то я с лицом, исполненным печали, пристраивался где-то рядом. Мину, думаю, делал значительную и загадочную, но — как уж получалось. А если ее не оказывалось в холлах, буфетах и коридорах — продолжал слоняться, чувствуя бессмысленность длящегося времени и существования мира в целом, лишенного ее присутствия; и — необыкновенное одиночество, которое в такой взрывоопасной концентрации чувствуется лишь в юности: хочется кричать, кусаться, разрезать себе что-нибудь из жил-вен, прыгнуть головой вниз из окна. Позднее научаешься загружать и мир, и время разнообразными предметами и занятиями, за которые удобно держаться психике, в юности ты лишен этих опор.

На завтраках, обедах и ужинах я куска не мог положить в рот, пока не находил ее в поле зрения, однако рядом старался не садиться, чтобы не участвовать в совместной процедуре чавканья, пережевывания котлеты и высасывания со дна стакана разварившейся груши от компота, поскольку невозможно было представить, как это я намазываю, например, масло на хлеб и раскрываю рот, чтобы его туда запихнуть под ее взглядом. Да лучше умереть! По существу же, мне не припоминается никаких деталей из этого периода, что лишь подтверждает исключительно романтический и дочувственный характер этой влюбленности. Больше всего помнится это очумелое состояние постоянной озабоченности и эта могучая тяга к ней — до гудения и закладывания в ухах, как будто ты находишься в самолете и он постоянно набирает высоту.

По приезде, вместо того, чтобы найти предлог для продолжения знакомства, что было бы довольно легко, я стал дежурить возле ее окон и встречать-проводить ее в школу и из школы. И делал это не из-за природной робости, а — по не вполне понятной поначалу для меня самой причине — инстинктивно опасаясь, что это чудо отстояния, этот сладкий туман отдаления, дающий возможность мелевать картину будущего по собственной прихоти и любыми красками, — исчезнет. Скорее всего, я и был влюблен именно в этот густой вероятностный туман, возникающий вокруг ее барбиобразной фигуры с расстояния тридцати метров сзади, густота которого, а следовательно, и количество счастливых вероятностей уменьшались вдвое при приближении к ней, скажем, метров на пятнадцать. Не говоря уж о том, чтобы приблизиться вплотную и пережить обман и яд реальной встречи, непереносимую трезвость встречи.

И это стояние в отдалении продолжалось довольно долго, замедляя мое собственное время непроисходимостью событий и погруженностью в созерцание ее окна. Когда мы познакомились, я был в девятом классе, то есть мне было шестнадцать лет, а ей было всего четырнадцать. Спустя год я все еще стоял перед ее окнами, отмечая незначительные изменения в композиции картины, называемой «окно возлюбленной»: клетка с канарейкой — на месте, кактусы — на месте, горшок с геранью тоже, между кактусами и геранью с некоторых пор, где-то посередине

этого «великого стояния», появилась оранжевая пластмассовая игрушка — Мишка. Кажется, у нее была младшая сестра в возрасте, когда вполне детские игрушки задвигаются подальше с глаз. В один из утренних приходов на месте оранжевого Мишки появился новый горшок с цветком, я не слишком разбираюсь в комнатных растениях, но вид и раскраску цветка помню — в положенный срок он расцвел фиолетовыми цветами. А потом сдохла и канарейка, завяли какие-то кактусы, пузатые кактусы сменились плоскими, два раза за этот срок поменялись занавески, а я все стоял. За всю последующую жизнь я ни разу не был так сильно влеком к женщине, не получая от нее никаких сигналов ответной симпатии. Вот — едва раздвигается тюлевая занавеска и появляется ее рука, потом прядь волос, потом то нос, то лоб, то подбородок, — начался процесс кормления птиц, который я наблюдал несколько раз, но чаще, к сожалению, этим занимались ее мать или сестра.

Затем был какой-то момент, когда я отъехал с родителями на отдых, а когда однажды утром вернулся поджидать ее в урочный час со стороны подъезда, а она все не выходила, я подумал, что заболела и не пошла в школу, и обойдя дом и выйдя на сторону ее окон, увидел картину, от которой тут же взбесился мой внутренний терморегулятор — мне в мгновение сделалось жарко-холодно-очень жарко-очень холодно, и так много раз подряд: клетки с канарейкой уже не было, а были совершенно другие занавески и другие горшки с цветами... Они переехали.

Я не то чтобы расстроился, я чуть было не скончался от горя, — получивства и полужелания были в ту пору мне неведомы. Первое, что пришло мне в голову — «они переехали в другой город, и я больше никогда ее не увижу». Стал думать, где достать ее адрес, и несколько дней, засыпая, мечтал, как я «брошу все», поеду куда-то там на «север дальний», почему-то думалось, что если уж она переехала, то обязательно очень далеко и на север, добираться нужно на оленях. Но вскоре все прояснилось. Оказалось, что переехали они всего лишь в другой район города — обменяли квартиру — и даже поближе ко мне, теперь не надо было так рано вставать, чтобы перед школой увидеть ее распушенные по спине волосы и стройные ноги, и я продолжал следовать за нею.

## 7.

Ритуалы человеческого общежития пританцовывают нас под посредственный аккомпанемент не всегда туда, куда нам хочется, даже если ты танцор хороший и ничего тебе, как некоторым плохим, не мешает, — не мог же я всю жизнь стоять под окном, обстоятельства подталкивали к сближению.

Оказалось, что в ее новом доме живет еще и моя одноклассница. Постоянное мельтешение под окнами возлюбленной было бы рано или поздно замечено, пересказано в классе, и я был бы зло, по школьному обыкновению, осмеян соучениками. Надо уж было либо легализоваться, либо перестать торчать под окнами. Кроме того, если раньше она жила на первом этаже, где даже сквозь густую тюлевую занавеску мне иногда доставались хотя бы мимолетные тени ее существования, а сквозь неплотно задернутую — серии мгновенных снимков шеи, волос и просунутой сквозь занавеску руки, то теперь она переехала на седьмой, наблюдение за которым стало более или менее бессмысленным: по свету в ее комнате можно было понять лишь, дома она или нет. И, наконец, самое важное: с некоторых пор она стала гулять вместе с компанией подростков, в которой были и парни, и девичьи, — ходили вместе взад-вперед, просто торчали возле подъезда или в подъезде, а я мог наблюдать за ними лишь издали. И тут меня стала грызть зависть

и ревность, от подъезда долетали частые взрывы смеха, девичьи взвизги и намеренно грубые голоса парней. У меня впервые появилось ощущение, приходившее впоследствии слишком часто: что жизнь, обогнув меня, потекла мимо. Нужно было решаться.

Лучше всего это было сделать через ту же одноклассницу, которая водила с ней дворовое знакомство, и мы быстро сговорились о посредничестве. Для женщин, после собственного кокетства с мужчинами, нет ничего привлекательнее сводничества, этой страсти они обычно отдают с огромным азартом, а в иных случаях этот азарт превосходит даже и природную склонность к кокетству; мужчины же, кроме случаев прямого сутенерства, занимаются этим редко, обычно мужчина ревнует всех женщин ко всем другим мужчинам, в которых видит только соперников, а не товарищей в любовных делах. Одноклассница как нельзя лучше подходила для выбранной роли: она была не слишком привлекательна, поэтому особых претензий на мое внимание у нее не было, но при этом мы были во вполне приятельских отношениях. Придумали, что я к ней зайду, а уж туда под каким-нибудь предлогом будет позвана и моя возлюбленная, и мы, вроде бы случайно, встретимся. Так и устроилось.

Она опаздывала, а я нервно ерзал на старой табуретке одноклассницы, и если бы возлюбленная опоздала еще минут на пятнадцать, мои штаны на заду непременно бы вспыхнули. Сводница же моя ехидно улыбалась.

О-о-о! Она вошла, как солнце, как царица, как благоуханная роза, как цветущий многодуховитый сад, расточая чудесные запахи парфюмерного отдела ближайшего галантерейного магазина, где обычный выбор был не так уж велик — от «Шипра» через «Красную Москву» к какой-нибудь «Сирени» или «Гвоздике», и тем не менее, в условиях бедного и запахами социализма, и эти запахи казались мне благоуханием. Впрочем, возможно, что в то время мне казался благоуханием любой запах, отличающийся от запаха помойки. Так или иначе, она вошла, с запахом или без одного — я сказал по чести не берусь, но, что точно помню — обрадовалась встрече со мной и, кажется, не заподозрила нас с одноклассницей в подстроенности мероприятия. О том же, что мы уже более года встречались с ней почти ежедневно, я ей, разумеется, не сказал.

Что было потом, что же было потом? Память труднее всего удерживает это «потом» унылых прогулок вдвоем или компанией по улицам пыльного социалистического города, состоящего, кроме бесконечных одинаковых новостроек, — из груд строительного мусора, поваленных заборов с проросшими сквозь доски лопухами, дикой и неухоженной зелени кустов и деревьев во дворах, грязного водоема, большого количества безобразных складских помещений, темных закоулков и переходов между ними. Кроме того, если сравнить этот этап поцелуев, пугливых объятий, как бы нечаянных сдвигов руки с талии на ягодицы, робких и вроде бы случайных попаданий рукою на грудь, первых попыток расстегнуть лифчик (о, эти социалистические лифчики! — к тому же, по молодости, еще далеко не все типы застежек были хорошо изучены и поддавались раскрытию движением всего одной руки), а также попыток положить руку на колено и повести ее вверх под юбку, — если сравнить это с последующими опытами тесного взаимодействия с другими женами и девицами, то, в любом случае, следует признать, что эти позднейшие были более полноценными и исполненными большего эротического или какого там — сексуального — удовольствия и даже достоинства. Все, что касается этой сферы интимного трения друг о друга с моей первой любовью, запомнилось мне, сказать по правде, не очень отчетливо и заслоняется в памяти

более яркими практиками с другими женщинами. Да и в случае с ней я особенно не стремился к прижиманиям и ощупываниям ее скудного тела, а скорее подчинялся здесь установленному природой и обычаями распорядку действий, который предполагает некоторое обязательное копошение и шуршанье по углам, чмоки поцелуев и все, без чего отношения не попадали бы в принятую тогда классификацию: «Вася гуляет с Машей». Важнейшим в определении ситуации был глагол «гулять» — то есть претендовать на исключительное право общения. Первое же время я просто осваивался с новым положением слишком близкого ее присутствия — на расстоянии протянутой руки, на расстоянии негромкого слова, на расстоянии дыхания и шепота, полуулыбки, скользких случайных прикосновений — и переживал эти замиранья «близости не вплотную» больше, чем последующие за ними опыты сплошного трения. На этом этапе взаимоотношений мне даже почему-то не мешали постоянные спутники из нашей компании, и я почти не чувствовал необходимости остаться с ней наедине.

Так или иначе, я стал участником компании юношей и девиц, центром которой была даже не она, а ее красота — некая отдельная субстанция. До нее самой, как часто бывает в подобных случаях, дела не было никому, включая, возможно, и меня. Вместе с нами, обычными подростками с окраины, передвигался по социалистическим улицам удивительный экземпляр очень удачной работы природы и, в отличие от других наблюдаемых удач творения — вида на речку Быковку с обрыва, плакучих ив Николаевского парка, закатов на западе и рассветов на востоке, — этот экземпляр всегда находился в приятной близости, разговаривал, учился в 8-м «Б» и даже получал те же самые двойки, что и менее приглядные экземпляры, — то есть все мы. Мне кажется, что это был какой-то небольшой период и в ее жизни, когда она сама чувствовала свою красоту точно так же отдельно от себя, как и все участники этих «прогулок с красотой», она тоже сама с собой гуляла или — «выгуливала» себя. Так, вероятно, бывает иногда с красавицами недолгий срок в полудетстве, когда они только начинают привыкать к новому образу себя (часто прошедшему стадию гадкого утенка), на который остальное человечество начинает реагировать весьма заметно и по нарастающей: комплиментами, конфетами, букетами, мороженым, кино, ресторанами, виллами, яхтами, а также предложениями рук и сердец вместе с виллами и яхтами. Только в это короткое время они, красавицы, еще не вполне понимают ужасную химическую силу красоты, способную ускорять процесс выработки тестостерона у мужчин, а вместе с этим делать их управляемыми, зависимыми, готовыми на все; а точнее — они, конечно, уже знают ее и замечают, но пока еще недооценивают, не научаются ею пользоваться в полной мере и превращать ее в частное предпринимательство, а то и в отрасль промышленности. Впоследствии, на закате, эта обертка бледнеет, тускнеет, осыпается, как штукатурка в брошенном доме, и тогда происходит самое ужасное для красавиц — приходится возвращаться к себе самой какова есть. Хорошо, если процесс эксплуатации красоты завершился более или менее удачно и есть на что жить...

Словом, позже мне часто казалось, что это был такой период, когда она еще недостаточно высоко себя ценила, лишь привыкала к своей высокой стоимости и позволяла общаться с собой задешево всяким придуркам... вроде меня.

Впрочем, как я втайне и ожидал, на возлюбленную мою лучше всего было смотреть издали или просто смотреть, не слушая и не участвуя в обмене скудными, возможно, и с обеих сторон, мыслями. Единственное, что иногда истребляло легкое, но постоянное ощущение пользователя дорогой и красивой вещи, доставшейся тебе не вполне по заслугам, это когда она иной раз грустно и робко улыбалась в мою сторону и делала такое опускательное движение глаз с выра-

жением так называемой «беззащитности», что мне хотелось от любви, нежности, а главное, от сострадания перевернуть, перекопать, перепахать, перемолотить, растереть в порошок и развеять по ветру весь этот дурацкий — само собой — мир ради того, чтобы она почувствовала мою опеку, твердость моего несгибаемого духа, надежное мое плечо и почувствовала бы себя, наконец, защищенной. Ведь эта так называемая «беззащитность» является химическим реагентом еще более сильным, практически ядом, который производит в организме мужчин химическую диверсию, побуждая их к действиям весьма разрушительного характера, направленным на защиту объекта обожания от предполагаемых или указанных самим этим объектом врагов. Все зло в мире от беззащитности!

В короткое время мне удалось захватить первенство в компании ее поклонников, оттеснить в сторону слабых, превозмочь нерешительных и добиться явного предпочтения у нее. Я стал бывать дома, познакомился с родителями, о которых тоже совершенно ничего не помню, кроме лысины ее отца и расплывающейся фигуры матери в узких социалистических проемах, и успешно перешел к этапу гуляния вдвоем за ручку, а также совместному посещению кино, поеданию мороженого — и далее по списку... Возможно, я тогда торжествовал некоторое время и гордился красивой подругой, но эмоционального следа в душе это тоже не оставило. Думаю, что должен был гордиться, первая любовь, как-никак, — и так удачно.

Остальных же участников совместных прогулок я припоминаю вообще смутно, за исключением будущего богатея, который уже тогда отличался повышенной вдумчивостью и последовательностью в поступках.

## 8.

Если в раю бывает зима, то погода этой райской зимой должна быть такой же, как в тот вечер, когда меня сильно избили из-за нее. Я хорошо это запомнил, потому что когда тебя бьют по голове, а в особенности ногами, вся экспозиция запоминается очень отчетливо.

Шел редкий снежок, но снежинки не падали, а витали в свете уличных фонарей. Возможно, они вообще не долетали до земли, а просто парили, причем иногда взлетали вверх. Думаю, что в раю это в принципе возможно. Небольшой пушок из долетевших все же снежинок лежал на земле, и ботинки человеческие оставляли на нем отчетливые следы, слегка смазанные со стороны каблука. И еще — была несвойственная городу тишина, будто звучащая, — только в диапазоне, который находится за пределами восприятия ухом, но ты просто чувствуешь этот звук, предслышишь его.

Вот в этом свете, в этой звучащей тишине и витании снежинок мы возвращались с нею, кажется, из кино. Улица была пустой, и я еще издали увидел четыре силуэта, стоящие невдалеке от ее дома. Я немного напряжился, но мало ли в России темных силуэтов расставлено по углам и подворотням. Это вообще один из главных признаков русского городского пейзажа и прежде, и теперь. Когда возвращаешься на родину после долгого отсутствия, это первое, что бросается в глаза, — не архитектура же, которой в русских городах давно нет, а именно это: всюду кучкуются темные силуэты молодых людей, зачастую довольно плотного телосложения, — чего-то ждут без видимого занятия. Первое, что приходит в голову, чтобы себе же самому объяснить это явление, — им просто негде сидеть: кафе и забегаловок и при Советах было не густо, а при демократах это удовольствие тоже не вполне народное. Подобные же городские картины можно увидеть в городах Южной Италии или Латинской Америки: молодые мужчины группируются от безделья, безработицы и отсутствия каких-то особенных интересов и занятий.



Где-то рядом бродит свирепая мафия. Разница с Латинской Америкой и югом Европы заключается лишь в том, что русские хлопцы стоят на холоде, где вообще-то стоять совершенно неуютно, и головы их, плотно обтянутые черными вязаными шапочками, закрывающими уши, напоминают зачехленные лампочки (русский город зимой — это пейзаж со снегом, белесыми домами и гроздьями зачехленных лампочек по углам). То есть они не просто стоят, а еще и подвергают себя испытанию холодом. Это загадка.

Словом, я не особенно встревожился — стоят и стоят, уже пару таких компаний мы прошли по пути из кино. Однако возлюбленная моя — я почувствовал это — неожиданно напряглась, ссутулилась и стала нервно прихихикивать. Мы поднялись на седьмой этаж, я хотел было прощаться у двери, но она завела меня в квартиру и не хотела отпускать, уговаривала переждать. Она узнала среди стоявших одного из своих не известных мне ухажеров, парня крупного и постарше меня, очевидно, зная про него что-то еще, она сильно разволновалась. Я же таким образом понял, что эти четверо ждут именно меня, но в этой ситуации уж я не мог отступить и показать, что струсил. Мы мягко поцеловались, и вот этот короткий поцелуй я помню отчетливо, возможно, потому, что он сочетался с почти любящим взглядом. Или это я так интерпретировал вину в ее взгляде, — ведь если этот не известный мне ухажер считал себя вправе вмешиваться в наши гулянья, то какие-то там сигналы она ему подавала, а теперь, возможно, раскаивалась. Впрочем, все это могло быть домыслом, но поцелуй запомнился.

Я вышел. Страх не помню, хотя страх запоминается в жизни чаще, чем все остальное — чем радость и счастье, — значит, он был незначительным. Возросши в шпанском рабочем районе, в уличных противостояниях, я чувствовал себя довольно уверенно. И даже не потому, что был способен раскидать в одиночку несколько хулиганов, хотя навыками уличного драчуна обладал достаточными, а, скорее, потому, что мог успешно на любом этапе подключаться к этому изысканному дискурсу русской подворотни: «А ты, ёптыть, Косого знаешь, да? — Сам-то я Косого не знаю, но знаю Серого, которому Косой лепший кореш, а названный Серый корефан самому Бобону, с каковым махались мы плечом к плечу, утратив всяческое гуманное представление о назначении человечества, и против клешевских, и против раздолбаевских и живота своего не щадили, не щадили живота-то, короче, в натуре, то есть хоть очко и играло, но член с пропеллером не пролезал, и махаловка закончилась полной нашей викторией...»

Ведь в те легендарные позднесоциалистические времена насмерть или до калечества забивали редко, так что, кроме необходимых физических навыков мордобоя, успех уличных противостояний и препирательств еще верней зависел от умения вести эти «беседы», «разговоры разговаривать». А в беседах всегда есть огромный простор для фантазии, маневра и компромисса.

Но на этот раз пространный дискурс не задался, а как-то сразу соскользнул к проклятым вопросам. Примерная суть беседы может быть восстановлена лишь пунктиром:

- Отрекись, падла!
- Не отрекусь.
- Бамс, бамс!
- Отрекись!
- Никогда!
- Ах ты, сука!
- Бамс, бамс, бамс.
- Уй-я...
- Опять — бамс, бамс. Кувылк.

Более полно подробностей беседы я, к сожалению, не помню. Вполне возможно, что какой-то, более сложный, обмен аргументами все же присутствовал, не бывает же русского мордобоя без хоть рудиментарного обмена аргументами. Помню, что в какой-то момент я решил оторваться и убежать, что обычно не использовал как прием в дворовых рукопашных битвах, а тут как-то, ввиду бессмысленности и унизительности происходящего, решился. Выждав момент, как-то отвлек собеседников, толкнул одного на другого и побежал. И я бы непременно убежал во всякий другой раз, но не в этот... Как назло, именно в этот дурацкий день мне пришлось в голову надеть на улицу новые ботинки на кожаной подошве — решил покрасоваться перед возлюбленной. Жители северных стран без дополнительных описаний могут легко себе представить, что значит бегать в ботинках с кожаной подошвой по снежному насту, жители же южных пусть поверят на слово — не убежишь. Да даже и решиться на беготню в таких обстоятельствах можно было лишь в поврежденном состоянии сознания после пары ударов по мозгам. Пробежав несколько шагов, я рухнул, а тут подоспели и поверенные в сердечных делах моего неожиданно объявившегося соперника; они же, в отличие от меня, были обуты более сообразно обстоятельствам — в ботинки на толстой микропоровой подошве, которая мало того, что не скользит, да еще и очень удобна, когда дискурс задействует все конечности, что и произошло.

Как всякий юноша, возраставший в заводских районах советских городов, я прекрасно владел специфической координацией движений, необходимой человеку, которого бьют ногами, да еще толпой: нужно поджать колени к груди, закрыть лицо руками, но не напрягаться, а мягко перекатываться, чтобы принимать удары вскользь и не по одному месту. Тогда почти не больно. И если не будут бить кирпичом по голове или резать ножом, что случалось довольно редко, то наутро можно даже в школу пойти как ни в чем не бывало.

В конце концов они устали, а уходя, мой соперник даже нагнулся и похлопал меня, лежащего, по плечу: «А ты ничего парень, не трус...». Забавная уличная солидарность во вражде: «Хоть мы, типа, и бьем друг другу морду, пусть даже и ногами, но ведь без злобы же и уж тем самым гораздо ближе друг к другу, чем те, кто этого по разным причинам не делает». Что, в целом, правда.

Я чувствовал себя победителем и притирал шрамы сражений перед зеркалом при помощи всегда присутствующей в нашей квартире для таких случаев бодяги — средства, ускоряющего исход синяков. В дверях вздыхала моя бедная матушка, а из-за ее спины заинтересованно посверкивал цыганскими глазами младший брат. Его подобные увлекательные приключения ожидали лишь года через три-четыре, пока же он находился в возрасте казаков-разбойников.

## 9.

Залечив синяки, я наведалься к возлюбленной и был встречен, как герой, вернувшийся из дальнего похода с победой и завоевавший тем самым право на руку и сердце Прекрасной Дамы. Несчастный мой соперник отступился, чего я, честно говоря, не ожидал. Я уже готовился к длительной войне и размышлял, кого из своих друзей смогу привлечь к военным действиям. Сдаваться я, разумеется, не собирался. Но он вдруг отстал — сыграло ли тут роль мое упорство или, что скорее, нежелание моей возлюбленной иметь с ним дело и ясное предпочтение меня. Он был чистой шпаной довольно брутального вида, а я — хоть и шпаной, но благообразнее.

Я же решил воспользоваться благоприятным моментом и приступить к следующему необходимому этапу ухаживаний — к поцелуям, но не к тем скользким, полутоварищеским чмокам, одним из которых она наградила меня, прощаясь в тот райский снежный вечер, когда мне набили морду, — такими мы с ней уже

обменивались, а к настоящим — с обниманиями и захватом слизистых оболочек партнера внутрь своих слизистых оболочек и проворачиванием их там в течение некоторого времени, а также просовыванием своих в обратную сторону. Что я вскоре и совершил и, скорее всего, в подъезде.

О, эти просовывания! Эти — сначала прижимания, потом ощупывания, скольжения по чулку вверх или по спине вниз до восхитительной выпуклости плоти... О, эти изворачивания, торопливые сдергивания, сползание, возня с пуговицами, какая резинка тугая! Как бы не порвать на ней последнее, ажурное — родители не простят! О, это усиливающееся возбуждение от неудобства положений, от напряженного ожидания открытия двери квартиры № 75, откуда пахнет прокисшими щами, или № 77, где начинается скандал и вот-вот хлопнут дверью, но — наплевать, нужно лишь захватить одной рукой её ногу под колено, поднять её вверх....

Черт, но это уже другой процесс... Мы же всего лишь о поцелуях.

Поскольку обстоятельств этого целования и эротических переживаний, его сопровождающих, я опять же не припоминаю, то подъезд — это просто самое вероятное место, где могла свершиться эта значительная в жизни всякого человека акция — первый поцелуй. Ведь жителям тех же теплых стран трудно себе хорошо представить, что поцеловать русскую девушку на улице — это большую часть года все равно, что лизнуть на морозе железку. Чувственности минимум, одна демонстрация привязанности, а кроме того — эстетической терпимости и эротической широты. Ведь русские девушки зимой всегда простужены, шмыгают красными носами, сопли тоже, бывает, текут, бородавки простудные на губах вскакивают. В Европе отдаленное представление о том, какими переживаниями может быть наполнено это событие, могут составить себе лишь жители Альп или Скандинавии, да и то там обычно теплее. Уж о жителях Африки или, там, Южной Америки нечего и говорить, у них для сравнения нет ничего подходящего по ощущениям — разве что попытаться разгрызть замороженную в холодильнике куриную ногу.

А посему подъезд русской многоэтажки социалистического образца (а это и по сию пору самый распространенный способ проживания русского городского населения) — это вообще одно из самых эротически насыщенных, насквозь пропитанных чувственностью мест в экспозициях русской жизни как в прежние времена, так и теперь. По крайней мере, концентрация чувственности здесь сильно превосходит такие общественные места, как пляж, баня, а то и публичный дом, где влечения как-то размазываются по более мелким, отвлекающим ощущениям, где то жарко, то мокро или, например, постоянные безмозглые прихихикивания проституток, то все эти несчастья вместе, где нет чувства интимности, усиливающей возбуждение украдки, когда ждешь, что вот-вот откроется дверь и выйдет сосед, и все увидит и расскажет кому надо; и желание возрастает до такой степени, что оно способно преодолеть и запах кошачьей мочи в подъезде, и запах близкого мусоропровода, и даже отвратительной запах стирки времен русской гастрономической катастрофы во все советское время, которой здесь несет из всех щелей. А стены подъездов сплошь расписаны руководствами наподобие Камасутры и даже комментариями к ним: «Маша Мише не дала, а у Вовы в рот взяла». Довольно часто здесь можно увидеть и подробные антропометрические данные всех особей женского и мужского полу в возрасте от 13-ти до годов, эдак, 25-ти — 30-ти, проживающих как в этом подъезде, так и во всех подъездах близлежащих домов.

Нигде эротические игры не бывают составлены из столь невообразимой, бурлящей помеси ощущений: из досады на отсутствие собственной жилплощади, распирающей плоть похоти, торопливости, преодоления брезгливости с проскользнувшим сожалением о невозможности, но желательности душа и необходимости почти гимнастической подготовки. Случайно ли в русских эротических

сборниках и на сайтах есть специальный раздел — «в подъезде»? То есть секс в русском подъезде отнесен к какой-то особенной разновидности сексуальных удовольствий (или извращений) — вероятно, наряду с изменой, инцестом, групповой и изнасилованием. Да и то правда — не каждый это сможет даже и в физкультурном отношении!

Словом — все должное свершилось, и нигде, кроме как в подъезде, оно произойти не могло. Напомню, что речь в нашем тогдашнем случае шла всего лишь о поцелуе и ни о чем другом, хотя сексуально модернизированному поколению нынешней молодежи, возможно, это и покажется непривычным пуританством или даже платоническим фундаментализмом (извращением).

О, затем было множество женских губ, — и при мимолетном только воспоминании об иных организм чувствует притекновение тепла во все важнейшие его части, но от тех начальных поцелуев с моей первой возлюбленной ничего не осталось в памяти ума и организма. Я вообще не помню ее губ, — видимо, это была не самая важная часть ее тела и облика.

И здесь пленка в кинопроекторе нашей юности начинает заедать и потрескивать, затем промелькнула строчка «...Шосткинского химкомбината...», которую сменило расплывающееся на весь экран горящее пятно, а затем — только треск работающего киноаппарата и пустой экран с пляшущей сероватой рябью. Но если отвернуться в темноту зала и зажмурить глаза, а потом, чуть-чуть погодя, повернуться вновь, то можно на мгновение увидеть на экране идущий в тридцати метрах спереди девичий силуэт — в короткой юбке, с длинными волосами по спине и отличной, но поразительно несексуальной фигурой компьютерной куклы, исполненной в 3-D графике. Ни лица, ни запаха, ни звука. Я даже не помню, почему мы расстались.

## 10.

Нужно было еще по меньшей мере десять лет, которые и прошли, а знать, прошло их и больше, чтобы Барби советского образца медленно повернулась на экране памяти ко мне лицом, и расстояние при этом сократилось до, примерно, пяти метров, — и у нее оказалась чудесная грудь не менее чем 4-го размера, по советской же классификации, великолепии которой подчеркивалось глубоким вырезом платья, позволяющим увидеть долгую разъединительную полосу (сколько должно быть стараний разместить их соответствующим образом в лифчике!), столь же лучистые, как и в юности, глаза, правда, немного уменьшившиеся в размере относительно лица, что происходит практически со всеми глазами на свете — они почти никогда не увеличиваются по мере проживания; алгоритм же моргания остался прежним, и даже следы «распахнутости» были еще очень заметны (впрочем, подозреваю, что эта самая «распахнутость» есть просто специальный косметический эффект загнутых вверх, как у кукол, ресниц), наивности, пожалуй, — тоже, но уже появилось в них нечто новое, если не печаль, то, совершенно очевидно — вдумчивость в тревоги существования и еще очень ясно — точное знание собственной цены. Кроме того, я впервые узнал о наличии у нее шеи, которая была не менее прекрасна, чем остальные фрагменты моей первой возлюбленной, но прежде ее закрывали распущенные волосы, которые ныне были забраны в тяжелый нетугой узел, и красота этих волос в узле поразила меня до головокружения и желания немедленно закурить. Вместе с шеей, совершенно новой чертой ее облика, еще был небольшой двойной подбородочек, который ее совсем не портил, а был еще в той начальной стадии разрастания, когда он лишь украшает облик зрелой женщины; и еще были полновесные и полнокруглые бедра, сочетав-

шиеся с невероятным образом оставшейся тонкой талией, — и если взглядом скользнуть от нее вверх, то узость талии подготавливала неожиданность впечатления от груди — оно было столь же убийственным, как в юности от ее «распахнутых» глаз, только тогда это было воздействие свежести и полудетской-полуангельской прелести, а здесь — совершенной женственности, распирающей корсеты плоти, словно это была сама аллегория чувственности. Стоило ей, поведя плечами, сообщить великолепной груди легкое колыхание, как все мужчины, в поле зрения которых она оказалась, или смотрящие на нее в подзорную трубу, должны были бы падать замертво от резкого гормоноизлияния в мозг.

Мне захотелось уже не только закурить, но и моментально напиться от тоски и не-тебе-принадлежности всего этого, а еще точнее — от когда-то упущенной возможности того, чтобы все это принадлежало именно тебе. Я быстро сделал несколько рефлекторных глотательных движений подряд.

Так мы и встретились с ней — случайно, в электричке рязанского направления, идущей от Москвы. Я к этому времени вернулся домой после десятка лет скитаний и испытаний себя и сделался запоздалым студентом гуманитарного института, начав вести совершенно иную жизнь — простую, бедную и книжную, с ежедневной ездой из пригорода в Москву для учебы. И вот однажды, возвращаясь из института в конце месяца мая, я был озабочен экзаменами и сидел, опустив нос в книгу с, допустим, каким-нибудь Джойсом или того хуже — Гомером, а когда взгляд оторвался от страницы, то он наткнулся на эту самую грудь, которая притягивала любой взгляд окрест и которая размещалась, слава богу, не ровно напротив, а наискосок через проход, да еще и через лавочную секцию — расстояние достаточное, чтобы притягательность объекта не потеряла силы, но и для того, чтобы не встречаться взглядом с глазами над грудью, если не захочется. Ей, видимо, и не хотелось, поскольку она явно убирала свои глаза, когда я, взглянув выше полушарий, почти с ужасом обнаружил во владелице этой выдающейся плоти свою первую любовь и попытался организовать встречу взглядов.

Вот и уткнись так в случайную грудь в электричке! Безопасней для самочувствия было уткнуться в пасть злой собаки или в бригаду контролеров, будь я безбилетником.

А когда электричка трогалась и набирала скорость или когда притормаживала перед остановками — чудесная грудь 4-го размера в глубоком вырезе летнего платья отвечала ей продолжительным колыханьем. И каждому случайно нашедшему ее глазами становилось совершенно очевидно, что в этой пригородной электричке рязанского направления происходит лишь одно событие, сопоставимое (в контексте вечности) с шелестеньем свежей листвы за окном, — это колыханье груди не менее чем четвертого, повторяю, размера в глубоком вырезе летнего платья моей бывшей возлюбленной, не обращавшей на меня ровно никакого внимания!

А все остальные — пассажиры, попутчики, путешественники, ездоки, да и просто дураки дурацкие — лишь допущены о сём свидетельствовать и запомнить это на всю жизнь. А кто по какой-то причине ничего не заметил, тот тем более дурак. Ведь это колыханье по своему экзистенциальному напряжению сопоставимо лишь с просовыванием, а то и превосходит его. Нет, даже точно превосходит, причем существенно...

Она поднялась на выход за две, примерно, остановки до моей, а это могло означать лишь одно — она жила не на прежнем месте и, стало быть, была уже замужем (в России той поры незамужние девушки редко меняли местожительство, да и трудно было ожидать ее незамужности при таких внешних данных), — грудь ее в последний раз глубоко колыхнулась, мягкие шары перекатились в своем ложе, и на них отразились солнечные блики и перекадина оконного стекла

электрички; а затем, опустив глаза, чтобы не встретиться с моими, медленным поворотом плеч она извлекла свою волшебную грудь из поля моего зрения на следующие десять лет, но намертво вморозила ее в мою память. И все эти годы, прошедшие без встреч и даже сожалений о ней (слишком много всего произошло и со мною, и со страной, где я прежде жил), если я случайно вспоминал ее, то после секундного промелька кадра, на котором от меня удалялась, пружиня, угловатая девочка-подросток, тотчас же на экран вываливалась полновесная грудь в цветном изображении, исчерканная перекладами и бликами от окна, и уже не отступала, пока памяти было угодно возвращаться к этой женщине. Именно эта мягкая тяжесть слегка запотевших от тесноты корсета шаров из электрички рязанского направления, следующей от Москвы со всеми остановками где-то в конце 80-х, тотчас же и вывалилась перед моим затуманенным портвейном мысленным взором в конце апреля 2002 года, как только она назвала свое имя во время звонка в редакцию и обеспечила тем самым моментальный приток тепла в нужном месте организма. А наутро, пия аспирина после выдающихся вливаний портвейна, произошедших и от праздника, и от неожиданного волнения, я пытался в виде какого-то эксперимента осуществить просмотр более ранней версии изображения моей памяти — с девочкой-подростком, но — тщетно, сплошное удушливое култыханье этой проклятой груди заслоняло все на свете. Ранняя версия оказалась надежно стерта десять лет назад — в электричке.

И эта картинка тогда же сделалась одним из самых чувственных образов моей жизни, пугающих своей мистической неотвязностью и «слепыми наплываниями». Правда, если на Набокова «слепо наплывала» Россия, то на меня ее грудь. Каждому свое.

Но и этот образ приговорен был погаснуть.

## 11.

Любопытство или любознательность, как ни назови, — страсть, становящаяся иной раз сильнее таких очевидных, как пьянство, игра на деньги и любовь, и, как всякая страсть и стихия, легко переплескивается через края неглубокой миски здравого смысла.

Женщины моего возраста, даже если учесть, что она была на пару лет моложе, редко выглядят привлекательно, особенно русские. Мне стоило более серьезно отнестись к выбору картинки для рабочего стола моей памяти: коллаж из женских грудей, солнечных бликов и перекладыни окна вполне достоин того, чтобы с ним сначала жить, а потом умереть, ни о чем не грустя. И надо же было мне решиться на его неминуемую перемену! Слишком часто, при обращении назад, память подсовывает такие изображения, на которые лучше бы не смотреть, тем более ночами. Ведь смысл жизни, особенно в нашу эпоху визуального разврата, в каком-то смысле, можно представить в виде существенного положительного баланса счастливых картинок в памяти по отношению к отвратительным. А счет произведут в самом конце: справедливый Бог каким-нибудь волшебным способом извлечет из твоего усталого сознания «дембельский альбом» твоей жизни и, хмурясь, не спеша перелистает: у кого в результате проживания намалевалась одна дрянь или абстракционизм какой-нибудь — пошлют обливаться кипящей смолой в аду, меня же, с ее колышущейся грудью, послал бы сразу в рай, это точно.

А теперь уж даже не знаю, куда пошлют?

И особенно опасно проделывать эту операцию обновления картинок со своими прежними любовями, все это изначально обречено на провал, причем на худший вариант изображения будут перезагружены оба компьютера — и ваш и ее.

Но мысль о том, что я завтра снова смогу запросто увидеть свою первую возлюбленную, совершенно лишила меня чувства экзистенциальной безопасности, осталась одна бессмысленная страсть к познанию и что-то вроде тоски по молодости. Память же о том, как она отвернулась от меня в последний раз в электричке, придавала этому чувству оттенок мстительности — теперь вот сама просит о встрече — ну-ну...

Мы уговорились встретиться с ней через пару дней в центре города. Надо ли говорить, что все эти два дня, как только зажмуришь глаза, — мягкие шары выныривали из тьмы сознания, как буйки от потонувшей подводной лодки, и начинали невыносимо перекатываться, а затем — уж совершенно по-свински — сталкиваться друг с другом и долго-долго колыхаться. И ничем было не унять видения, примешь стакан коньяку — так вообще, кроме этих шаров, ничего становится не видно из окружающего тебя мельтешения живых и неживых объектов.

## 12.

Грудь из четвертого размера переросла, должно быть, в седьмой и произвела бы впечатление просто парализующее, если бы не две ошибки в дизайне. Она принадлежала природе и коррекции уже, видимо, не поддавалась: выступающие роскошные объемы груди съедались расплывшей частью, находившейся под нею, — на узкую девичью талию не было уже и намека, — и затем эта плоть, почти не увеличиваясь, переходила в бедра, также потерявшие свою выраженную возбуждающую овальность. Вторая ошибка была самодеятельной: вся грудь была наглухо затянута плотной кофточкой под горло — водолазкой. И я не сразу понял смысл этой грубой ошибки, обычно ведь женщины очень внимательно относятся к драпировкам, обтягиваниям и обнажениям и — вплоть до возраста полного износа — ежели у женщины есть хоть один фрагмент плоти, претендующий на то, чтобы служить сексуальному возбуждению мужчин, то, будьте уверены, именно его вам покажут в первую очередь. Здесь же таковым оставалась, несмотря ни на что, несомненно, грудь. И лишь чуть позже, приглядевшись внимательнее, я понял и эту уловку: подбородок моей возлюбленной преодолел за эти годы стадию двойного и подбирался к тройному, а высокий ворот водолазки был как раз попыткой это скрыть, впрочем это не всегда удавалось: то одна, то две, а то и все три складки при неосторожных поворотах переползали через край воротника. От чудесных волос не осталось и следа, на голове было что-то крашеное, короткое и бесформенное. И лишь в глазах, обратно пропорционально всему остальному уменьшившихся в размерах, я тотчас же узнал знакомые огоньки из юности, тогда, в электричке, для подобного впечатления я сидел далековато. Теперь ей было около сорока, а мне — чуть-чуть за.

Но это была моя первая любовь.

Мы побрели по родному городу, где оба выросли, где оба, с перерывами, провели жизнь, в городе достаточно маленьком, чтобы рано или поздно встретиться снова, и достаточно большом, чтобы встретиться лишь два раза за жизнь. Моя жизнь в последнее время была на виду, газета пользовалась популярностью, и она лишь уточняла детали, поэтому большую часть времени я расспрашивал её. Как не сомневался никто из нас еще в юности — она поступила в свой техникум, затем в такой же институт, много где успела поработать еще в советское время (здесь она с невыветрившимся почтением назвала ряд советских организаций, состоящих из нескольких корней, один из которых непременно был «торг» — «Райпромторг» или «Промторграй», запомнить было мудрено), а нынче у нее сеть обувных магазинов в городе или, точнее, магазин один и кроме него — обувные отделы в других магазинах. Торговать обувью ей очень нравится, о, это совершен-

но не то, что торговать тряпьем или продуктами, или даже бытовой техникой, про которую нужно все знать (а это уже другая профессия); а обувь — это совершенно иное, это очень романтично, это закаты и рассветы, это туфелька милой и шампанское из нее, это — вы идете вдвоем босые, а она держит свои босоножки в руке — каблук сломался, а ты — из солидарности — тоже босой, это лакированный ботинок жениха, который твердо и уверенно стучит по ступенькам Дворца бракосочетаний, это тонкие кожаные ремешки, обхватывающие точеную лодыжку, это суперсексуальные сапоги и эротичные валенки...

К моему удивлению, от ее гимна профессии обувщика действительно повеяло романтикой и даже — бери выше! — поэзией. Оказалось, что немецкие ботинки, что были на мне, куплены в одном из ее магазинчиков, о чем я ей тут же сказал. Это ее заметно обрадовало. Но по тому, как в паузах между улыбками и захватывающим пересверком глаз с огоньками из моей юности на лицо возвращалось не нейтральное выражение, а озабоченность, можно было догадаться, что пришла она не только для дружеских воспоминаний.

На встречу я выходил из редакции и чувствовал, как молодые сотрудники весело перемигивались, поскольку все были свидетелями того, какое впечатление произвел на меня ее звонок во время верстки. Все знали, что я иду на встречу с первой любовью, так как я сам это неосторожно выболтал из-за усталости и портвейна, а за спиной балагурили, думаю, и гораздо больше, чем я замечал. Перед выходом мне попала на глаза улыбающаяся Наташа и игриво предложила привести первую любовь для знакомства с редакцией, напоят, мол, ее и кофеем, и чаем, и чем прикажете... У меня и у самого эта мысль держалась до самой встречи: приведу в редакцию, покажу кабинет, чай-кофий, можно и коньяк, пусть посмотрит на эту увлекательную редакционную суматоху, как относятся ко мне люди, как меня ценят, любят, уважают, чтут, заискивают, как слушают малейшее мое слово. Стоимость всего этого необыкновенно возрастает как раз от возможности продемонстрировать родным, близким и товарищам юности: гляньте, о други, каков я стал, а с вами вот так запросто — как и прежде. Это мелкое тщеславие — одно из самых доступных и распространенных удовольствий после еды и секса. А иногда и вместо еды и секса.

Но увидев грудь седьмого размера и все, что располагалось выше и ниже, я понял, что не стану тешить тщеславие этим способом, потому что в ее расплывающемся теле отражается и мой собственный возраст, который был, как мне казалось, не столь заметен, пока я вертелся среди молодых девиц, груди которых хоть и находились в диапазоне всего лишь от первого до третьего размеров, зато пропирали даже сквозь плотные кофточки и бюстгалтеры, как шишаки кайзеровских касок.

Мы сели в кафе.

### 13.

Пока ей несли кофе, а мне пиво, мы весьма оживленно обсуждали биографии общих знакомых и вспоминали всякую всячину. Была отличная солнечная погода, особенно радостная для людей, заждавшихся весны и лета. Я спросил о семье и рассказал о собственной. Оказалось, что мужа у нее нет.

В разводе? — спросил я.

Нет, просто живу одна.

Она нахмурилась и явно не хотела продолжать. Зато есть взрослый сын — ему двадцать один, он учится в Высшей школе милиции и, как я понял, пошел по стопам отца — тоже милиционера. И тут я вспомнил и ее брата, как мне говорили — тоже служившего в милиции. Его я знал очень хорошо, и в какое-то школьное время мы состояли с ним в одной дворовой компании. Оказалось, что брат спился,



и она с ним почти не встречается. Видно было, что и об этом говорит без удовольствия, но и очень просто — не увиливая. Я не заметил даже и стеснения. О чем спрашиваю — отвечает, о чем не хочет — говорит, что не хочет, только глаза гаснут. Эта манера производила впечатление.

— А помнишь, Ириша, как мы однажды гуляли, а на нас из твоего дома свалилось тело какого-то несчастного самоубийцы, ну, чуть не на голову, а ты подняла визг и едва в обморок не упала, — вдруг вспомнилось мне.

— А ты тогда спокойно подошел и с деловым видом взялся щупать пульс и сказал: «Кранты, надо вызвать милицию». Тогда я впервые стала воспринимать тебя всерьез. Ну-у, скажем, серьезней, чем других. Я еще подумала тогда: «Надо же — какой смелый, мертвецов не боится, ведет себя так, как будто на него трупы каждый день валяются», — ответила она, и в ее глазах засверкала огоньками удивительная машина нашего с ней общего времени.

— Да я и сам боялся, но для тебя устроил представление. Как я сейчас понимаю, щупать пульс в таких обстоятельствах уже не обязательно. Впрочем, вот видишь — выпал он на мое счастье, а так бы ты меня еще долго не замечала. Это судьба! Кстати, а я думал, что ты в меня влюбилась после того, как меня отколошматили из-за тебя, помнишь?

— Я не помню, — улыбнулась она еще шире, — колошматили же тебя. Кроме того, я в тебя вовсе и не влюбилась, а просто предпочла другим. Ты мне казался самым верным.

— А я вот помню, что после этого мы стали целоваться, — сказал я.

— А мы еще и целовались? Какой кошмар, чем мы с тобой, оказывается, занимались в детском возрасте!

Мир отчалил от нашего столика и поплыл за ее спиной, размазываясь цветными пятнами. Ясным и четким оставалось лишь ее лицо с сияющими молодыми глазами. Мне стало очень хорошо — впервые за последнее время. Наступила минута ясности и покоя, которыми мы награждаемся всего несколько раз в жизни.

«А помнишь, как ты протянул мне руку, а я не смогла достать до нее и упала в лужу, и решила, что все — хватит с меня... — А помнишь? — Нет, это было не так. — А как? Ты ничего не помнишь. — Я помню все, что надо. Я только и делаю, что помню...»

Я не стал напоминать ей ту нашу случайную встречу в электричке, напоминание могло прозвучать как упрек, а мне не хотелось ее ни в чем упрекать. Лишь прижгла мимолетная печаль и ревность, что тот ее замечательный женский расцвет достался не мне, и я его уже никогда больше не увижу, и все прошло, и в это было поверить труднее всего, а теперь вот еще — я чувствовал это! — навсегда угасает в моей памяти и та картинка из электрички. И мне останется только — впредь любоваться заставкой из тройного подбородка и располневшего живота. Какой же я дурак, какая несправедливая дрянь эта жизнь...

— Девушка, девушка, пожалуйста, еще пива и... тебе что? Кофе? И еще кофе, пожалуйста.

Да какая разница, что я запомню! Я запомню этот ясный день, этот плывущий за ее спиной мир, пусть даже она и не так красива, как была в юности и молодости, мы все не так красивы, как были в юности, как могли бы быть изначально с рождения — и что? Все это ерунда, важно, что вот мы сидим сейчас вместе с той, которую я, может быть, всю жизнь любил и носил с собой ее мысленные фотографии в разных видах, что даже еще важнее, чем настоящая, картонная, с надписью — «твоя Маша». Что-нибудь унесу и теперь, от хорошего человека всегда есть, что унести. Пусть уж не будет этого, как его... трепетанья-колыханья, да

далось оно тебе! Унесу вот эти ее печальные страдающие глаза, эту мягкую радость зрелого человека, ее еще молодой смех, это спокойствие и достоинство, с которым она говорит и курит. И пусть мы с ней, по определению, не могли бы быть вместе ни минуты — и не о чем жалеть! — поскольку мы совершенно — не просто разные, но — несовместимо противоположные люди... Пусть так, но есть ведь что-то и поважнее общих интересов, и красоты даже, — всех этих грудей, ног, задниц и других частей всевозможных тел, и — даже... поважнее молодости. Вот этот огонек, например, в ее глазах, легко прожигаящий двадцать с лишним лет, и, главное, — он принадлежит не ей одной, он принадлежит нам обоим, и только нам двоим, только мои глаза зажигаются от этого огня, как будто весь остальной мир обернут против него огнеупорной тканью, — и только наши глаза, только наши...

И тут она сказала то, зачем пришла:

— Скажи, пожалуйста, а вы стихи печатаете?

— А? Что?

— Вы стихи печатаете?

Само упоминание о стихах из ее уст было столь же неожиданным, как если бы передо мной сидел священник и, вместо напоминания о вечернем молитвенном правиле, спросил, не пою ли я на ночь «Интернационал». «А надо бы петь, сын мой». Её до крайности неромантическая натура, думаю, даже стихи из школьной программы переваривала через икоту, примерно как я некогда науку химию. Сама идея попытаться организовать слова при помощи чередования ударений и ритма могла показаться ей достойной конченного человека. Лучше уж пить, как ее брат. Так мне всегда казалось.

— Если ты, Ириша, вдруг запишешь стихи, то мы напечатаем их, несмотря ни на что, вопреки своему правилу не печатать никакого «творчества», — я язвительно подчеркнул последнее слово.

Она удовлетворенно ухмыльнулась и затушила сигарету в пепельнице. Но я заметил, что пальцы ее дрожали от волнения.

— Я-то не пишу, а вот мой сын...

Она полезла в сумочку и достала оттуда папку. Сладкая мысль о едином составе зажигательных смесей в наших глазах рассеивалась во мне под действием наползающего страха.

— Мой сын стал поэтом, — закончила она мысль.

Я даже и не понял, произнесла ли она это «стал поэтом» с иронией или всерьез. Интуиция подсказывала мне, что она этим не шутит. Скорее всего, возможные смыслы могли прочитаться так: если уж мой сын, так случилось, и стал поэтом, то отнестись к этому следует со всей серьезностью, как если бы он стал директором, ну, пусть не обувного магазина, но хотя бы мебельного — без всякого разгильдяйства!

— Илюша, — сказала она с заметным дрожанием в голосе — видимо, все это давалось ей нелегко, — только ты можешь нам помочь... Нам нужно напечатать эти стихи.

Кажется, я сразу протрезвел, а мир утих и пришвартовался обратно — к спинке ее стула. Ну, конечно, единственная причина встречи спустя двадцать лет — это то, о чем она сейчас будет меня просить. А ты-то о чем подумал? Ей неловко, у нее дрожат и губы, и пальцы, она много курит, пытаюсь вспомнить заготовленные дома слова, но существа дела это не меняет: тебя спустя двадцать лет разыскала твоя первая любовь, которая некогда не захотела тебе даже кивнуть, чтобы попросить об услуге, которую ты никому не оказываешь. И тебе неловко ей отказать. Почему-то неловко, черт возьми!

Впрочем — чего особенного? Я пытался обрести равновесие и оправиться от прилива обиды и злости. Ну, пришла женщина, что-то просит, могла бы и не быть первой любовью, могла бы просто оказаться обычной незнакомой увядающей женщиной, которой от тебя что-то надо, чего сделать ты не можешь. К тебе же обращаются люди с различными просьбами по двадцать раз в день, и если ты не можешь им помочь, то так и говоришь об этом или даешь какой-то совет, где для них могут сделать просимое. Ничего особенного — каждодневная твоя работа, можно сказать, рутина. Надо только дружелюбно и ясно разъяснить, почему ты не можешь напечатать эти стихи, дать совет отправить их в литературное издание, дать адрес этого издания, в конце концов...

Но я уже чувствовал неловкость и растущее напряжение от предстоящего отказа. Стараясь быть и беззаботным, и дружелюбным, но и твердым, вздохнув глубоко, я сказал:

— Видишь ли, Ириша... Я должен тебе сразу с сожалением сказать... дело в том, что мы общественно-политическое издание, газета, а это особый, так сказать, формат, то есть мы принципиально не печатаем не только никакого художественного творчества, как там стихи или рассказы, но мы не печатаем даже ничего, написанного не нашими журналистами, ничего, что не вписывается в довольно емкий и лаконичный формат. И за четыре года мы не сделали ни единого исключения из этого правила, возможно поэтому наша газета и пользуется такой популярностью и даже приносит доход...

Я сделал короткую паузу для дыхания и для того, чтобы отогнать искушение привести ей грубоватую, но убедительную, на мой взгляд, аналогию: «Ты же вот не торгуешь, Ириша, в обувном магазине колбасой и селедкой, и даже не торгуешь продукцией Малаховской тапочной фабрики, а все больше башмаками из Италии и Германии». И — удержался. Очевидное на примере обувного и селедочного отделов становилось почему-то даже обидным в своей очевидности, как только его проговоришь словами, но никак не убеждало людей подобного склада, а часто приводило в бешенство, — опыт у меня был. С другой же стороны, подобная помесь казалась им вполне естественной во всем, что касается газет, журналов и печати в целом, не говоря уж о том, что обычно они даже не ставили под сомнение саму возможность для себя судить об этих предметах. Боже, сколько у меня было советчиков из колбасных, вино-водочных и бакалейных отделов и магазинов, а также из всевозможных канцелярий, когда я начинал издавать городскую газету! Из обувного только не было. Вот теперь есть.

Сын трудных ошибок ясно давал понять мне, что я существенно влип.

Упрямо нахмурившись и глядя в стол, она пережидала мои слова, как пережидают мешающий разговаривать поезд в метро. На словах «ни единого исключения» она криво улыбнулась. А в паузе она меня опередила:

— Я могу заплатить за публикацию, — и посмотрела мне в глаза.

— Ты не поняла, — я отвел свои, — мы не печатаем стихов, до сих пор мы не напечатали ни строчки, уверяю тебя.

Не меня кривой гримасы, она ею же и усмехнулась, а потом достала из сумочки старый номер моей газеты, развернула его и подвинула через стол прямо к моему носу. В газете были стихи. Три внушительных столбика.

Если судьбе угодно будет тебя извести, то это будет сделано при любых обстоятельствах и никакой расчет и предосторожности здесь не помогут, можешь хоть все распланировать, и все равно: ты отправишь жене письмо, адресованное любовнице; тебе приспичит перед свиданием с женщиной твоей мечты, ты отойдешь за угол, а она будет подходить именно этим переулком; ты сплунешь

с досады, думая, что ты один, а попадешь на ботинок, а хуже — на галстук начальника, от которого зависит твое будущее. Ты, наконец, забудешь то, что забыть, вроде бы, невозможно, и тебя уличат во вранье. Абсурдизм таких, казалось бы незаслуженных встрясок, более всего заставляет вспоминать о Провидении и попытаться понять его настойчивые рекомендации. Ну, не счастье же, которое всегда незаслуженно, всегда пьянит и лишь отвращает от судьбы и от попыток вчитаться в ее путанные тексты, наставляет тебя.

— Я предполагала, что ты мне можешь отказать, но думала, Илюша, что ты хотя бы найдешь для этого вескую причину и не станешь обманывать меня, — она запнулась, — старую знакомую.

Мне стало резать слух это обращение уменьшительным именем, которым меня редко кто называл. Мать и близкая женщина — варианты подходящие, но я даже точно не помнил, называла ли она меня так в юности. Скорее нет. Она вряд ли тогда была в меня даже влюблена и, как это часто бывает с женщинами, просто досталась мне, как кубок победителю соревнований, кубок — как это тоже часто бывает — переходящий, неокончательный. А затем перешла дальше — к более удачливому или менее романтическому соискателю. При чем тут «Илюша»?

Я посмотрел на опубликованные стихи и, несмотря на нервную ситуацию, едва удержался от смеха, но вовремя почувствовал, что теперь всякая моя лишняя улыбка, смех будут интерпретированы как оскорбление:

Я рано проснулась, так мало спала!  
Бандиты у власти — болит голова.  
Глаза лишь закроешь — кошмарные сны,  
На трупах народа шикуют они.

Потом было такое:

Предки наших мафиози — людоеды,  
Мясо ближних у них было на обеды.  
От них люди во все стороны бежали,  
Эти люди славу добрых умножали.

И сейчас потомки древних людоедов,  
Мафиози, нас глотают на обедах  
И на завтраках, на ужинах — всегда,  
От такой еды у них теперь беда;

Тонут все они сейчас в своем дерьме,  
Жизнь опасная их, словно на войне.  
Вот такие есть поганцы и у власти,  
Развалили всю страну они на части;

Могут съесть нас до конца — рукой помашут.  
За границей на поминках наших спляшут.  
Народ добрый, наконец-то ты проснись,  
На борьбу ты с этой тварью поднимись.

Несмотря на то, что ситуация угрожала взрывом, я не мог оторвать глаз от чтения. Дальше шло мое любимое.

Погребальный марш поют у нас дома,  
Им повсюду подпевают холода.  
Оборону держит мэрия в окопе,  
Оказалось комхозяйство у них в попе.

А бюджет для комхозяйства нулевой,  
труд работников при этом дармовой.  
И сантехник, словно раб,  
Он работает за так.

Болят руки его и тело,  
Нет у власти до них дела.  
Тепло тросом добывает,  
В стояки трос пропускает.

В карман власти трос пусти,  
Детям хлеб чтоб обрести.  
Минимальная корзина слесаря пустая,  
Зато максимальная в мэрии густая.

Дочитав, я все же не сдержался и засмеялся. Вся подборка была озаглавлена строчкой «В карман власти трос пусти» с невероятно удачным перебоем ритма и скоплением согласных: «т — р — с — п — с — т», — меня всегда передергивало от эстетического удовольствия. Подзаголовок публикации тоже был подходящий: «Пушкин — рядом не валялся». И рубрика: «Народ не безмолвствует». Стихи предваряла моя заметка, я и ее пробежал глазами, поскольку эта публикация была уже делом давним, и не мог унять хохота. Поэтке было 82 года. Стихи стала писать на пенсии и в основном на такие вот коммунально-бытовые темы: кран потек, мэрия окопалась, домуправ — скотина, зажрался, кошка родила пятерых котят, соседка — стерва, мужиков водит каждый день, по ночам гудят. Своего рода — радио в стихах. Выступала перед пенсионерами на лавочках, в основном — перед собственным подъездом, поскольку ноги уже плохо носили старушку. Иногда собиралась аудитория с трех-четырёх лавочек, ведь, как я понял из ее же рассказов, компании пенсионеров тоже как-то делятся и соперничают, как и подростки. И если подростки делятся по районам и улицам, то пенсионеры «по лавочкам». Словом, к ней на слушания приходили даже посидельцы с уж совершенно враждебной лавочки по ул. Осипенко. Это ж хрен знает где — идти почти полкилометра! Это был реальный успех, почти слава.

Об этом я и написал в своей заметке, которая, вместе со стихами, представляла, скорее, репортаж с места события, а не литературную публикацию. И это был, со всеми этими оговорками, все же единственный случай публикации, да и про него я совершенно забыл именно потому, что у меня в голове эта публикация изначально проходила по графе «репортаж», а не «наши таланты». Репортаж как репортаж, только с цитатами.

Я понял, что не смогу ей сейчас объяснить всего этого. Она подумает, что я приплетаю ей какую-то невероятную «отмазку», обидится смертельно и проклянет меня навеки.

Черт, все же мне не хотелось, чтобы первая любовь прокляла меня навеки. Надо было выкарабкиваться. Ну, что там, какие варианты? Ну, допустим, он пишет хорошие стихи про любовь, например, или про что иное, про что пишутся хорошие стихи... Кто он по профессии? Курсант Высшей школы милиции... если кто-то кое-где у нас порой... Про романтику милиционерской службы. Может, ко Дню милиции приурочить публикацию? Но до него еще долго — в ноябре, а сейчас

май, и она, видимо, хочет немедленно, до ноября она меня размелет в мелкую муку. Я представлял, как будут выглядеть тягомотные стихи о пользе милицейской службы на полосах моей газеты, где все материалы, кроме новостей, подавались с известной долей издевки над городскими и губернскими властями и вообще в ироническом ключе. Если они даже окажутся хорошими, то все равно это будет совершенно неуместно, а если плохими — тем более. Да и в любом случае нас изнасилуют местные графоманы, которые только и жаждут прецедента. И так вся редакция завалена «народным творчеством» и анонимными доносами, а теперь еще к стихам старушки будут добавлять в качестве аргумента и стихи милиционера. Черт, черт! Надо все-таки что-то придумать, хотя бы оттянуть решение.

— Ну, хорошо, Ириша, ты меня застрелила, убила наповал. Но поверь, я вовсе не собирался тебя надувать, это действительно единственная публикация, больше не было. Я и забыл про нее. И это, как сказать... ну, это не вполне стихи что ли, это эээ...

Тут я не нашелся, как это определить для нее, а она понимающе перебила:

— Я знаю, мой сын пишет гораздо лучше.

— Ну, хорошо, хорошо..... Давай я возьму домой и посмотрю. А потом что-нибудь придумаю. Позвонишь мне, например, в конце следующей недели.

— У меня нет двух недель, — сказала она, — я зайду к тебе через три дня, в пятницу.

Она почувствовала мою слабость и навалилась всем своим былинным бюстом, работая им как лебедкой, — бессмысленно было даже попытаться увильнуть от встречи.

— И еще, — продолжала она серьезным тоном, — я хочу тебе сказать одну вещь, наверное, это надо было сказать сразу. Я обратилась к тебе не только потому, что я тебя знаю. Тут много причин. Я не могу тебе даже всех рассказать. Просто мой сын очень любит твою газету, всегда ее читает и удивляется, как это ты никого не боишься. Я тебе не льщу, а просто говорю правду.

То, что она не льстит, было почему-то сразу понятно. Я молчал.

— Так вот, когда я ему сказала, что знаю тебя с детства, он очень удивился, сначала даже не поверил, и очень обрадовался. А когда еще рассказала, что ты был в Афганистане, мой мальчик теперь думает и говорит только о тебе. Дело в том, что он был в командировке в Чечне и там всякого навидался и приехал другим человеком. Он там даже был ранен, правда, легко, уже все зажило. Это стихи о войне и о его товарищах. Ты же знаешь, как это важно для него и для его товарищей, чтобы про них было написано стихами. Он говорит, что только ты можешь это понять, ты единственный в этом городе. Поэтому он очень хотел бы напечатать стихи именно у тебя.

В руки мои и ноги натек жидкий цемент, а теперь еще, вместе с тоскою, наливалось понимание того, что им действительно был нужен только я. Больше струны она не могла найти в моем организме, чтобы побренчать на ней. Я действительно понимал, как это важно для ее сына, а особенно для его товарищей, как они от этого станут сильнее и увереннее в себе, как у них от этого может даже повыситься, например, меткость при выцеливании врага или стойкость в условиях, когда стоять и терпеть уж не будет никаких сил, или, по крайней мере, будет чувство, что о них кто-то знает и помнит, а их летописец, миннезингер, вот он, мать твою, рядом ползет... Кроме того, еще я знал, а она пока нет, да я ей, наверное, и не скажу, что этот случай со стихами ее сына напоминает мне одну неприятную историю: однажды я уже отказал при сходных обстоятельствах в публикации одному своему очень близкому другу, бывшему однополчанину, подполковнику в запасе, ни с того ни с сего вдруг расписавшемуся какой-то придурковато-

патриотической ахинеей и тоже пожелавшему напечатать ее непременно у меня в газете, после чего он мне перестал звонить. И мне даже думать об этом больно, поскольку, поскольку... эх, да что там говорить! — он был мне даже больше, чем родной. Если бы я был, например, охранником какого-нибудь банка или его директором, то я легко пошел бы для него на преступление, если бы он только сказал, что это его спасет. Скажем, я открыл бы там какие-нибудь банковские закрома и отсыпал бы ему этих самых денег, сколько надо для окончательного счастья или спасения, и не испытывал бы при этом угрызений совести. А здесь я, как ни вертелся, так и не смог решиться напечатать его патетическую злобу на всех и вся, едва утрамбованную русским синтаксисом, — и даже не только из-за того, что эти высокопарные патриотические сопли бросили бы тень умственной отсталости на меня самого, издание и моих коллег, а потому еще, что я не хотел выставить идиотом своего близкого друга, пусть даже он этого и не понимал, а, напротив, считал свои сочинения необыкновенной удачей.

Тогда, в подобных же обстоятельствах, я не нашел ничего лучшего, как также попытаться ему разъяснить, что, мол, тексты не вполне соответствуют характеру издания, употребил даже это слово «формат». Но такие ситуации безвыходны в основании: автору, если он не профессионал, никогда ничего не объяснишь про «формат» и что его текст почему-то не подходит. В разговоре мой товарищ легко разбивал все мои аргументы заявлениями типа: «Но ты же знаешь, что это правда? Знаешь, да, ведь знаешь? Ну скажи?» — «Ну, правда, — отвечал я, припертый к стенке». — «Но если это правда, почему тогда ее не напечатать в твоей газете? И тебе честь, и людям польза». И он так и не понял, почему я ему отказываю после стольких лет нашей дружбы, начавшейся на войне, — ведь он-то тоже был готов для меня на все. Короткая размолвка пререросла с его стороны, думаю, даже в презрение ко мне, после того как его где-то все же напечатали, и вскоре он стал довольно известным патриотическим писателем и уже издал все, что хотел напечатать у меня, отдельной книгой, и даже внушительным тиражом. И это, конечно, лишь утвердило его в мысли, что я просто «скурвился окончательно».

С тех пор мы с ним ни разу не встречались и даже по телефону не разговаривали.

— А почему он сам не пришел? — спросил я.

— Он хотел, но я сказала, что лучше пойду я.

## 15.

Вечером, лежа в кровати, я достал аккуратно сброшюрованную в пластик при помощи каких-то дорогих канцелярских приспособлений рукопись. Уже от красочного оформления титульной страницы на меня повеяло воинственными ветрами моей собственной юности — до сведения скул: бравый мент в «краповом берете» мужественно смотрел вдаль, закатанные рукава обнажали бицепсы «как у Шварценеггера», автомат небрежно болтался подмышкой. Это был рисунок тушью, берет же был раскрашен карандашом и фломастером в «краповый» цвет. И каким-то финтифлюшечным шрифтом был написан заголовок в пол-листа — ой-ё! — «Верность долгу». Я даже зажмурился от приступа ностальгии. С вариациями, в зависимости от рода войск, сочинение могло быть озаглавлено «Верность небу (морю, полету, самолету, парашюту, танку)», а во времена моей армейской молодости героического парня любили рисовать в тельняшке, в одной руке автомат, а другой он обычно обнимал за плечи светловолосую красавицу в очень короткой юбке (приблизительный образ моей возлюбленной того же периода — матушки этого парня — советской Барби); волосы романтически развевались, на заднем плане с неба

спускалась на парашютах грозная боевая техника, да и сам воин, видать, только что спустился с неба, и тут же к нему подбежала для обнимания девица в короткой юбке (или спустилась с ним же на соседнем парашюте). Почему-то эта простодушная эстетика очень сильно действует на юношей призывного возраста. Наверное, потому что простодушная, да и мотивы вечные: любовь, пулемет, парашют и другое. Прощание славянки, одним словом. Впрочем, действует не только на юношей, и на меня вот тоже — спустя много лет — действует до патриотических мурашек по коже. Глазницы мои увлажнились, и мне примстился запах ваксы от солдатских сапог.

Я подумал о том, что прошедший социализм был, скорей всего, не эпохой пресловутого «соцреализма», а вот этого героико-романтического стиля солдатской записной книжки и дембельского альбома. По крайней мере, именно он был самым массовым и, как оказалось, совершенно нетленным: солдатские песни, юмор (его называют еще казарменным, а мне и сейчас смешно), анекдоты, эстетика глаженных сапог, выгнутой бляхи, фуражки на два размера меньше, ушитого козырька и аксельбанта во всех возможных местах, — все это будит в душе нечто древнее, рудиментарно-патриотическое. Тысячелетний запах русской казармы.

Раскрыв рукопись, я сразу наткнулся на великую русскую рифму из разряда ботинок — полуботинок, лейтенант — старший лейтенант и полковник — подполковник. Здесь она была представлена тоже необыкновенно удачно: общественный порядок — беспорядок. Вообще я не без интереса стал читать дальше, и глазницы мои увлажнялись все больше.

Строчит пулемет бэтэра,  
А мы по-пластунски ползем.  
Заглохни, стальная холера!  
Сейчас доползем и взорвем...

Подборка была сопровождается еще и натуральной фотографией автора. Такие фотографии дарят девушкам: вполборота, в форме милицейского спецназа, на груди значки и боевая медаль, взгляд мужественный и задумчивый, плечи широкие, лицо тоже. Я даже инстинктивно перевернул ее, словно желая обнаружить надпись: «На долгую, добрую память». Надписи не было, зато глаза у парня были ее, материнские, только двадцатилетней давности. Вполне «распахнутые».

## 16.

В пятницу я сидел за своим столом в редакции и нисколько не сомневался, что она придет, причем вовремя. И она вошла, дыша духами и... бриллиантами — в ушах, на пальцах, на груди.

Как вождю краснокожего племени, вигвамы которого окружила армия бледнолицых, мне предстояло выбрать лишь между различными разновидностями смерти — славной, бесславной, славной и мучительной или бесславной, но не мучительной. В любом варианте приходится чем-нибудь жертвовать. Ночью я решил заранее вчувствоваться в самый бесславный и мучительный конец, тогда все остальные покажутся более легкими. Напечатай я эти стихи, хорошо себя почувствует только она и ее сын, возможно — его товарищи. Учитывая качество стихов, думаю даже — не все. Плохо — я и мои сотрудники (большинство из них мои же ученики, взятые в редакцию еще студентами или даже школьниками), поскольку заподозрят что-то неприличное, когда после посещения дамы с бриллиантовыми кольцами в газете появятся стихи с несвойственным не только нашему изданию, но и обычному мирному человеку пафосом в духе «умираю, но не сдаюсь» или — «враг никогда не пройдет». Кроме того, и библейская забота о «малых сих» ложилась



на сердце ответственностью: всех идиотов не перекуешь, возможно, они вообще не кююмые, но родных и близких нам идиотов мы, по возможности, должны удерживать от поступков, за которые человеку разумному стало бы стыдно.

— Тебе чай, кофий или, может, коньяку? — я улыбался как можно шире и дружелюбнее.

Она посмотрела на меня, как на ненормального: какой там чай, когда такие дела решать будем! Но попросила кофе. Пока секретарша готовила и несла кофе, мы попытались болтать о несущественном. Выходило плохо. За свою журналистскую и редакторскую карьеру я отказывал тысячам людей, в том числе и знакомым... Боже, почему же мне сейчас так тяжело! Когда кофе принесли и я, собираясь с силами, отхлебнул глоток, она, не трогая свою чашку и не желая больше ждать, начала:

— Ну как — ты читал стихи?

— Стихи... стихи я прочитал...

— Ну, и?

— Ты знаешь, Ириша, мне понравились стихи твоего сына, я вспомнил молодость, бои, там, походы и все такое...

— Значит, ты напечатаешь?

— Она почти что перебила меня, вклинившись в незначительную дыхательную паузу, видимо, это был ее излюбленный профессиональный прием — опережать поставщиков ботинок в паузах.

— Видишь ли, Ириша, стихи хоть и хороши своей непосредственностью, искренностью и близостью к правде жизни...

Я озвучивал заранее заготовленный текст из каких-то старинных, советских еще времен, литературоведческих штампов, которые, как я всегда замечал, очень понятны бывают именно людям, не особенно искусственным в искусствах, а то и вообще в грамоте. Ничего глубже убедительной бессмыслицы этих штампов довести, как правило, не удается.

— Однако они еще не слишком совершенны технически, — продолжал я, — требуют гораздо больших усилий в обработке. Твой мальчик должен больше читать других поэтов, литературу по стихосложению, поработать над рифмой, ритмом и в целом — стихом...

— А ты не мог бы показать, над каким именно стихом он должен поработать и на что его заменить?

— Ну, Ириша, это выражение такое, «поработать над стихом», не над каким-то конкретно стихотворением, а над стихами в целом. Имеется в виду практика стихосложения — рифма, ритм, образы и так далее.

— Хорошо, а ты не мог бы вместе с ним над всем этим поработать, ну, дать ему уроки литературы, что ли, ну, как английского. Не бесплатно, разумеется, я заплачу, сколько необходимо.

Не хватало мне только ввязаться в литературное наставничество ее героического сына — смешная ситуация. Последний раз роль литературного наставника я выполнял лет десять назад, давая уроки в тишине одной творчески озабоченной секретарше с грудью почти столь же трепетной, как и у моей первой любви в ту же примерно эпоху (уж не встречей ли в электричке была навеяна страсть к полногрудой секретарше в качестве компенсации?). Секретарша тоже сочиняла стихи про различные переживания. Мы упражнялись с нею в стихосложении и в других дисциплинах, постепенно все более увлекаясь этими другими дисциплинами в ущерб версификации (но отнюдь не поэзии), пока не забросили стихосложение окончательно. В данном же случае сил для наставничества я в себе не чувствовал, да и смысла не видел.

— Ириша, я не поэт, я вижу некоторые несовершенства, но сам не могу ничему научить. Есть литературные объединения, есть, в конце концов, литературные журналы.

— Но ты же больше в этом понимаешь, ты же учился на что-то там литературное и, я помню, в юности ты очень увлекался стихами. Я думаю, ты мог бы очень помочь моему сыну. Тем более, что он тебе очень доверяет. Пойми, он мало кому так доверяет, как тебе. И кстати, ты говоришь, что там много всякого брака в некоторых стихах, но есть же и такие, где брака либо вообще нет, либо минимум. Так, может быть, эти, без брака — можно было бы уже напечатать? А остальные — после переделки. Ты знаешь, на некоторые из этих стихов он поет песни под гитару.

Черт возьми, никакие испробованные веками способы коммуникации с графоманами здесь не действовали. Лучше бы парень сам пришел. Вероятно, она всерьез рассчитывала, что я должен буду напечатать не только пару стихотворений из подборки, но всю тетрадь. Она была в этом даже уверена. Волшебный облик моей первой любви совершенно угас, заслоняемый маской сорокалетней женщины с упрямым напряжением в губах и вертикальной складкой в переносье. Даже в глазах уже не было ничего от прежней возлюбленной, а тот волшебный огонек юности обернулся вдруг адским полымем в глазах маньяка.

Ух! Я вспомнил тяжелые бои под Кандагаром, остался последний патрон и последняя капля воды во фляге, кольцо врагов сужается, первый, первый, я второй, вызываю огонь на себя, умрем, но не посраим... гвардия не сдастся...

Я понял, что она тоже будет стоять насмерть.

— Ты все время спешишь, Ириша, а между тем я придумал одну хорошую вещь. Дело в том, что у меня есть один старинный приятель, мы вместе учились в университете. Он литератор, пишет на военно-патриотическую тему, бывал на войнах, в частности, на чеченской, но самое главное — он работает редактором одного военного журнала, кажется, даже ментовского журнала, — то ли «Щит и меч», то ли меч и еще что-то такое. Им такие авторы, побывавшие на войне и пишущие о ней, позарез нужны. Он даже обрадуется. И думаю, после небольшой редактуры, все будет опубликовано. Он же человек опытный и в литературном отношении, даст всяческие профессиональные советы.

— Журнал называется «Щит и меч», фамилия твоего товарища Журавченко, он типичный бюрократ. Он нам отказал и еще нахамил сыну. Он сказал, что почти каждый, кто умеет писать, может научиться и стрелять, а наоборот, мол, это правило не действует.

Я растерялся, это был мой главный козырь, заготовленный с ночи — отправить ее к приятелю, который — и это был просто подарок судьбы, что я о нем вспомнил вовремя, — работал именно в этом единственно необходимом в такой ситуации журнале. Я и подумать не мог, что этот счастливый вариант отпадет, но она правильно назвала его фамилию, — ошибки быть не могло. Удивительным было лишь то, что он им сказал, — обычно в редакциях так, действительно, с авторами не обращаются, даже если журналы военные. Но вот ведь ... даже для его «окопной правды» стихи, видимо, показались не слишком подходящими. Мог бы и напечатать, черт бы его побрал! Чай, не «Новый мир»...

— Я тебе заплачу, — сказала она тихо, — столько, сколько потребуется. Сколько это стоит?...этого достаточно?

Она назвала сумму, равную моему трехмесячному доходу. Я нервно постукивал карандашом по столу и смотрел в дальний угол комнаты, собираясь с мыслями.

Опять не переждав паузы, она удвоила сумму до шести месяцев моего существования, чтоб мне легче думалось. Боже, какой доход приносят эти обувные магазины!

— Ира, перестань, я не могу это напечатать.

— Почему?

Ее голос стал плавным и тихим, из него разом исчез напор. Мне стало ее ужасно жаль. Да хрен с ней, тиснуть, что ли, полстишка про пулеметы-бэтээры-броники-хэбэшки-подствольники и дульные тормоза ко Дню милиции с фотографией дяди Степы, пусть успокоится. Вот влип-то на негаданном месте...

— Это слишком неумелые стихи, и когда он подрастет-поумнеет, побольше прочитает, ему самому будет стыдно за них. А сейчас ему печататься еще рано. Пусть продолжает сочинять, если ему так хочется, а главное — пусть побольше читает, особенно стихов. Пусть, в конце концов, придет, мы с ним поговорим, — решил я на наставничество неожиданно для себя, — и вообще, пойми, я тебе хочу добра, я не хочу, чтобы над ним смеялись, а заодно и надо мной.

Вот этого она, кажется, совсем не ожидала и потеряла контроль над мимикой: глаза быстро выросли, рот раскрылся:

— Но это мне очень удивительно слышать, ведь его товарищам нравятся его стихи, они их под гитару знаешь как поют, — голос ее звучал почти жалобно.

— Это ничего не значит.

— Но почему же не значит?! Ведь если это кому-то нравится, значит, есть и другие, кому это может тоже понравиться, тебе даже эта публикация может прибавить читателей.

Я понял, что у меня нет больше аргументов. Все мои литературные резоны звучат как ехидные, злокозненные отговорки, поскольку и товарищей во вкусах нет, и я не литературный мэтр, и вообще — она права: если что-то кому-то нравится, значит может, а то и должно быть напечатано. Вполне возможно, что она действительно думает, что я ее как-то изощренно надуваю, что есть какая-то тайна, кроме качества стихов, которая одним открывает дорогу к публикации, а другим, более невезучим — без связей и без денег — нет. А тут, вроде, и дружеская нога есть, и деньги предлагаются, и все равно ничего не выходит. Я видел, что она лишь злобилась, не в силах этого понять. Ожесточался и я. Я, горячась, заходил по кабинету и нес уж вообще что попало без всякого смысла.

— Видишь ли, есть определенный уровень литературы, выработанный с течением времени, ниже которого это уже будет не литература, не журналистика, а обычная художественная самодеятельность, которая не для Большого театра.

— У тебя что — Большой театр?

— Нет, но и не сельский клуб.

— А бабка как же? Они же еще хуже, ну хуже ведь, да?

— Бабка это — обычная самодеятельность, фольклор, в качестве такового он и напечатан. У нормального читателя это вызовет улыбку. Но она ни на что большее и не претендует, а твой сын претендует на некое серьезное творчество, на последнее слово правды о войне, а сочиняет пока еще в духе самодеятельности. Там столько неотстраненной простодушной патетики, что это тоже вызывает улыбку. И это невозможно напечатать всерьез. Ну, с серьезным видом, что ли... Над ним будут смеяться.

— Тебе это смешно? — спросила она с вызовом и почти с гневом. — Ну хорошо, это самодеятельность. Но напечатай его тогда в виде самодеятельности, как бабку, нам все равно.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что это... потому что это неприлично. Это будет нечестно с моей стороны.

Она задумалась. А потом сказала еще тише, не справившись с голосом в середине фразы и подняв на меня свои чудесные глаза, в которых опять на секунду промелькнула наша прошедшая юность. Или просто зародилась слеза:

— Я не смогу объяснить всего этого сыну. Он этого не поймет.

Меня позвали по делу в другую комнату. Я извинился и сказал, что через пару минут вернусь, но когда вернулся, ее уже не было в кабинете. Я понял, что вряд ли мы еще увидимся.

## 17.

— Нужно было напечатать эти стихи, — сказал он ровным тоном, которым выговаривают окончательные истины, глядя мимо меня на стоящий невдалеке свой мерс. — Эй, пацаны, а ну-ка, кыш от агрегата!

Мы сидели с ним в том же самом открытом летнем кафе под зонтиками, где случайно встретились три месяца назад незадолго до звонка Ирины, и за тем же самым столиком, где потом я сидел и с ней, — это было вообще самое удобное место в кафе. Группа мальчишек резвилась в опасной близости от его блистающей машины. Услышав окрик, мальчишки исчезли. Говорил он одним лишь ртом, почти не шевелясь и не меняя развалистой позы с вытянутыми на соседний стул ногами. Двигалась только кисть руки с сигаретой — ко рту и обратно.

— И деньги нужно было взять. Ну, допустим, не все, но половину надо было взять — и напечатать. И тебе хорошо, и она бы думала, что сделала для сына все, что смогла. Впрочем, напечатать надо было в любом случае. Дело ясное.

Встретились мы опять вроде бы случайно. Я вышел из редакции выпить пива в конце изнурительно жаркого июльского дня, он подъехал на машине прямо к столику, куда вообще-то въезд был запрещен, опустил затемненное стекло, и тогда я его узнал. Улыбаясь, он подсел ко мне, заказал кофе, и мы опять почти сразу заговорили о ней. Я стал рассказывать ему всю эту историю со стихами и встречей. Кажется, мне хотелось получить от него сочувственный кивок, понимающую усмешку, подтверждающую мою правоту. Для душевного спокойствия мне нужно было именно это, и мне хотелось получить это именно от него. Только он мне и мог это дать.

— Ее сын погиб в Чечне месяц назад, даже тела не вытащили. Я знал ее мужа, он был высокопоставленный мент. Ну, ты знаешь, менты на зарплату не живут, особенно в чинах. Короче, кому-то он там не угодил, наехала служба собственной безопасности, его сдали. Стал этим, как там, — «оборотнем в погонах». На нем там много всего повисло, и все вешали и вешали. Ну а потом он умер в тюрьме от чего-то сердечного, как это обычно бывает... Сын уже к тому времени служил в ОМОНЕ и заочно учился в этом ментовском институте. В его положении лучше всего было уйти из органов к чертовой матери. Но он, несмотря ни на что, оставался, да еще и служил в самом каком-то крутом отряде, в Чечне бывали часто. Он просто хотел там что-то доказать за отца... ну, ты понимаешь... В ментовском журнале его не напечатали, думаю, не потому, что стихи были какие-то особенно плохие, а потому что твой приятель-редактор испугался фамилии, ему бы за публикацию задницу надрали. А мальцу это было очень нужно. Твоя газета действительно была их последней надеждой, напечататься в родном городе, где фамилию отца знали, сам понимаешь... Она просто не смогла рассказать тебе всё.

Я молчал и вместе с ним смотрел на его “мерседес”.

— Ты извини, конечно, я твою газету всегда читаю и покупаю... Но если, скажем, представить, что ее бы после этой публикации прикрыли на хрен, ну представь

себе такое, что, конечно, скорее, невозможно, — продолжал он, — то, как бы тебе сказать, ты только не обижайся, у тебя отличная газета... то ты мог бы спать спокойно: все самое хорошее твоя газета уже сделала. Ну так прикинуть: разве не за этим она еще нужна?

И тут у меня как-то вдруг все связалось: и его вроде бы неожиданные появления, влекущие за собой возврат в мое зрение полузабытых уже образов, и тот ее пьяный звонок в редакцию сразу после встречи с ним, и несвойственное ей, судя по тому, какой я ее увидел при встрече, придурковатое телефонное кокетство, которое никак не вязалось с ее страдающими глазами и трезвым расчетливым умом, — видимо, она этой развязной чепухой гасила страх и неловкость необходимой ей встречи. Все же я был для нее не поставщик обуви...

— Так это ты ее ко мне послал? — спросил я.

Но он не слышал вопросов, на которые не хотел отвечать.

18.

Газету мою через некоторое время действительно прикрыли. Нет-нет, это вовсе не была месть «человека с «мерседесом»», о чем вы, может быть, могли подумать. Это был в какой-то степени закономерный конец всякого русского дела, не основанного на пресмыкательстве перед властями или на больших деньгах и связях. Я даже давно уже ожидал чего-то подобного и встретил случившееся равнодушно и весело. И произошло все тоже по классическому русскому образцу: понаехали люди в масках, все перевернули вверх дном, забрали финансовые документы, унесли компьютеры и сильно напугали рекламодателей. Продолжать газету больше не имело смысла.

Как и прежде, я не часто вспоминаю о ней. Но теперь, когда это происходит, то на место ее стройных ног и длинных волос со спины, на место магического колыханья плоти и даже на место тройного подбородка, спрятанного за воротом водолазки, из каких-то неконтролируемых тоннелей памяти всегда наплывает другая картинка — молодой человек в форме ментовского спецназа с глазами из нашей общей юности. И это изображение мне хочется стереть более всего.

*Февраль — 17.06.2004*